

Основная часть

- 1. Введение
- 2. Культурные корни
- 3. Истоки национального сознания
- 4. Креольские пионеры
- 5. Старые языки, новые модели
- 6. Официальный национализм и империализм
- 7. Последняя волна
- 8. Патриотизм и расизм
- 9. Ангел истории
- 10. Перепись, карта, музей
- 11. Память и забвение

1. Введение

В истории марксизма и марксистских движений настает время фундаментальных трансформаций, возможно, пока еще не вполне заметных. И самые очевидные их приметы — недавние войны между Вьетнамом, Камбоджей и Китаем. Эти войны имеют всемирно-историческое значение, поскольку это первые войны между режимами, чья независимость и революционная репутация не вызывают никаких сомнений, и поскольку каждая из противоборствующих сторон ограничилась лишь самыми поверхностными попытками оправдать кровопролитие, опираясь на легко узнаваемую марксистскую теоретическую перспективу. Если китайско-советские пограничные столкновения 1969 года и советские военные вторжения в Германию (1953), Венгрию (1956), Чехословакию (1968) и Афганистан (1980) еще можно было интерпретировать — в зависимости от вкуса — в категориях «социал-империализма», «защиты социализма» и т. д., то никто, как мне кажется, всерьез не верит, что такая лексика имеет хоть какое-то отношение к тому, что произошло в Индокитае.

Если вьетнамское вторжение в Камбоджу и ее оккупация в декабре 1978 — январе 1979 гг. ознаменовали первую широкомасштабную войну, в признанном смысле слова, развязанную одним революционным марксистским режимом против другого[18], то китайское нападение на Вьетнам, произошедшее в феврале, быстро закрепило этот прецедент. Только самый легковверный отважился бы биться об заклад, что на исходе нашего века СССР и КНР — оставим в стороне меньшие по размеру социалистические государства — при любом значительном всплеске межгосударственной враждебности с необходимостью окажут поддержку одной и той же стороне или будут сражаться на одной стороне. Кто может быть уверен, что однажды не вступят в драку Югославия и Албания? Те разношерстные группы, что так упорно добиваются изгнания Красной Армии из ее лагерей в Восточной Европе, должны вспомнить о той огромной роли, которую играло ее повсеместное присутствие после 1945 г. в недопущении вооруженных конфликтов между марксистскими режимами региона.

Эти соображения призваны подчеркнуть, что после второй мировой войны каждая успешная революция самоопределялась в национальных категориях — Китайская Народная Республика, Социалистическая Республика Вьетнам и т. д., — и, делая это, она прочно укоренялась в территориальном и социальном пространстве, унаследованном от дореволюционного прошлого. И наоборот, то обстоятельство, что Советский Союз разделяет с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии редкостное качество отказа от национальности в своем именовании, предполагает, что он является в такой же степени наследником донациональных династических государств XIX в., в какой и предшественником интернационалистского порядка XXI в.[19]

Эрик Хобсбаум совершенно прав, утверждая, что «марксистские движения и государства тяготели к превращению в национальные не только по форме, но и по содержанию, т. е. в

националистические. И нет никаких оснований полагать, что эта тенденция не будет сохраняться и впредь»[20]. К тому же, тенденция эта не ограничивается одним только социалистическим миром. ООН почти ежегодно принимает в свой состав новых членов. А многие «старые нации», считавшиеся некогда полностью консолидированными, оказываются перед лицом вызова, бросаемого «дочерними» националистами в их границах — националистами, которые, естественно, только и мечтают о том, чтобы в один прекрасный день избавиться от этого «дочернего» статуса. Реальность вполне ясна: «конец эпохи национализма», который так долго пророчили, еще очень и очень далеко. Быть нацией — это по сути самая универсальная легитимная ценность в политической жизни нашего времени.

Но если сами факты понятны, то их объяснение остается предметом давней дискуссии. Нацию, национальность, национализм оказалось очень трудно определить, не говоря уже о том, что трудно анализировать. На фоне колоссального влияния, оказанного национализмом на современный мир, убогость благовидной теории национализма прямо-таки бросается в глаза. Хью Сетон-Уотсон, автор самого лучшего и всеобъемлющего текста о национализме в англоязычной литературе и наследник богатой традиции либеральной историографии и социальной науки, с горечью замечает: «Итак, я вынужден заключить, что никакого „научного определения“ нации разработать нельзя; и вместе с тем феномен этот существовал и существует до сих пор»[21]. Том Нейрн, автор новаторской работы «Распад Британии» и продолжатель не менее богатой традиции марксистской историографии, чистосердечно признается: «Теория национализма представляет собой великую историческую неудачу марксизма»[22]. Но даже это признание вводит в некоторой степени в заблуждение, поскольку может быть истолковано как достойный сожаления итог долгого, осознанного поиска теоретической ясности. Правильнее было бы сказать, что национализм оказался для марксистской теории неудобной аномалией, и по этой причине она его скорее избегала, нежели пыталась как-то с ним справиться. Чем в противном случае объяснить, что Маркс не растолковал ключевое прилагательное в своей памятной формулировке 1848 г.: «Пролетариат каждой страны, конечно, должен сперва покончить со своей собственной буржуазией»?[23] И чем иначе объяснить, что на протяжении целого столетия понятие «национальная буржуазия» использовалось без сколь-нибудь серьезных попыток теоретически обосновать уместность содержащегося в нем прилагательного? Почему теоретически значима именно эта сегментация буржуазии, которая есть класс всемирный, поскольку определяется через производственные отношения?

Цель этой книги — высказать ряд предварительных предложений по поводу более удовлетворительной интерпретации «аномалии» национализма. У меня сложилось ощущение, что при обсуждении данной темы как марксистская, так и либеральная теория увязли в запоздалых птолемеевых попытках «спасти явления», а потому настоятельно необходимо переориентировать перспективу в коперниканском, так сказать, духе. Отправной точкой для меня стало то, что национальность — или, как было бы предпочтительнее сформулировать это понятие в свете многозначности данного слова, национальность (nation-ness), — а вместе с ней и национализм являются особого рода культурными артефактами. И чтобы надлежащим образом их понять, мы должны внимательно рассмотреть, как они обрели свое историческое бытие, какими путями изменялись во времени их смыслы и почему сегодня они обладают такой глубокой

эмоциональной легитимностью. Я постараюсь доказать, что сотворение этих артефактов к концу XVIII в.[24] было спонтанной дистилляцией сложного «скрещения» дискретных исторических сил, но стоило лишь им появиться, как они сразу же стали «модульными», пригодными к переносу (в разной степени сознательному) на огромное множество социальных территорий и обрели способность вплавлять в себя либо самим вплавляться в столь же широкое множество самых разных политических и идеологических констелляций. Я также попытаюсь показать, почему эти особые культурные артефакты породили в людях такие глубокие привязанности.

Понятия и определения

Прежде чем обратиться к поставленным выше вопросам, видимо, будет целесообразно вкратце рассмотреть понятие «нация» и предложить его рабочее определение. Теоретиков национализма часто ставили в тупик, если не сказать раздражали, следующие три парадокса: (1) Объективная современность наций в глазах историка, с одной стороны, — и субъективная их древность в глазах националиста, с другой. (2) С одной стороны, формальная универсальность национальности как социокультурного понятия (в современном мире каждый человек может, должен и будет «иметь» национальность так же, как он «имеет» пол), — и, с другой стороны, непоправимая партикулярность ее конкретных проявлений (например, «греческая» национальность, по определению, есть национальность *sui generis*). (3) С одной стороны, «политическое» могущество национализмов — и, с другой, их философская нищета и даже внутренняя несогласованность. Иными словами, в отличие от большинства других «измов», национализм так и не породил собственных великих мыслителей: гоббсов, токвилей, марксов или веберов. У говорящих на многих языках интеллектуалов-космополитов эта «пустота» легко вызывает некоторую снисходительность. Подобно Гертруде Стайн, впервые воочию столкнувшейся с Оклендом, человек может довольно быстро заключить, что «там нет никакого „там“». Показательно, что даже такой благожелательный исследователь национализма, как Том Нейрн, способен написать такие слова: «„Национализм“ — патология современного развития, столь же неизбежная, как „невроз“ у индивида, обладающая почти такой же сущностной двусмысленностью, что и он, с аналогичной встроенной вовнутрь нее способностью перерасти в помешательство, укорененная в дилеммах беспомощности, опутавших собою почти весь мир (общественный эквивалент инфантилизма), и по большей части неизлечимая»[25].

В какой-то мере проблема кроется в бессознательной склонности сначала гипостазировать существование Национализма-с-большой-буквы (примерно так же, как это можно было бы сделать в отношении Возраста-с-заглавной-буквы), а затем классифицировать «его» как некую идеологию. (Обратите внимание: если каждый человек имеет тот или иной возраст, то Возраст — всего лишь аналитическое выражение.) На мой взгляд, все станет намного проще, если трактовать его так, как если бы он стоял в одном ряду с «родством» и «религией», а не «либерализмом» или «фашизмом».

Таким образом, поступая так, как обычно поступают в антропологии, я предлагаю следующее определение нации: это воображенное политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное.

Оно воображенное, поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности[26]. Ренан в своей особой вкрадчиво двусмысленной манере ссылался на это воображение, когда писал, что «Or l'essence d'un nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses» [«А сущность нации в том и состоит, что все индивиды, ее составляющие, имеют между собой много общего и в то же время они забыли многое, что их разъединяет»][27]. Геллнер несколько утрашающе высказывает сопоставимую точку зрения, утверждая: «Национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он изобретает нации там, где их не существует»[28]. Однако в этой формулировке есть один изъян. Геллнер настолько озабочен тем, чтобы показать, что национализм прикрывается маской фальшивых претензий, что приравнивает «изобретение» к «фабрикации» и «фальшивости», а не к «воображению» и «творению». Тем самым он предполагает, что существуют «подлинные» сообщества, которые было бы полезно сопоставить с нациями. На самом деле, все сообщества крупнее первобытных деревень, объединенных контактом лицом-к-лицу (а, может быть, даже и они), — воображаемые. Сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются. Жители яванских деревень всегда знали, что связаны с людьми, которых они никогда не видели, однако эти узы были некогда особенным образом воображены — как бесконечно растяжимые сети родства и клиентуры. До совсем недавнего времени в яванском языке не было слова, обозначающего абстракцию «общество». Сегодня мы можем представить французскую аристократию ancien régime[29] как класс; но, разумеется, воображена она была в качестве такового лишь в очень позднее время[30]. На вопрос: «Кто такой граф де Х?» — нормальным был бы не ответ «член аристократии», а ответ «хозяин поместья Х», «дядя барона де Y» или «вассал герцога де Z».

Нация воображается ограниченной, потому что даже самая крупная из них, насчитывающая, скажем, миллиард живущих людей, имеет конечные, хотя и подвижные границы, за пределами которых находятся другие нации. Ни одна нация не воображает себя соразмерной со всем человечеством. Даже наиболее мессиански настроенные националисты не грезят о том дне, когда все члены рода человеческого вольются в их нацию, как это было возможно в некоторые эпохи, когда, скажем, христиане могли мечтать о всецело христианской планете.

Она воображается суверенной, ибо данное понятие родилось в эпоху, когда Просвещение и Революция разрушали легитимность установленного Богом иерархического династического государства. Достигая зрелости на том этапе человеческой истории, когда даже самые ярые приверженцы какой-либо универсальной религии неизбежно сталкивались с живым плюрализмом таких религий и алломорфизмом между онтологическими притязаниями каждого из вероисповеданий и территорией его распространения, нации мечтают быть свободными и, если под властью Бога, то сразу же. Залог и символ этой свободы — суверенное государство.

И наконец, она воображается как сообщество, поскольку независимо от фактического неравенства и эксплуатации, которые в каждой нации могут существовать, нация всегда понимается как глубокое, горизонтальное товарищество. В конечном счете, именно это

братство на протяжении двух последних столетий дает многим миллионам людей возможность не столько убивать, сколько добровольно умирать за такие ограниченные продукты воображения.

Эти смерти внезапно вплотную сталкивают нас с главной проблемой, которую ставит национализм, а именно: что заставляет эти сморщенные воображения недавней истории (охватывающей едва ли более двух столетий) порождать такие колоссальные жертвы? По моему мнению, для ответа на этот вопрос нужно прежде всего обратиться к культурным корням национализма.

2. Культурные корни

У современной культуры национализма нет более захватывающих символов, чем монументы и могилы Неизвестного солдата. Публичное церемониальное благоговение, с каким относятся к этим памятникам именно в силу того, что либо они намеренно оставляются пустыми, либо никто не знает, кто в них лежит, поистине не имеет прецедентов в прежней истории[31]. Чтобы почувствовать всю силу этой современности, достаточно представить реакцию окружающих на такого любознательного эрудита, который бы «раскрыл» имя Неизвестного солдата или стал настойчиво требовать, чтобы в могилу положили настоящие кости. Вот уж поистине кощунство странного, современного типа! Однако несмотря на то, что в этих пустых могилах нет ни поддающихся идентификации смертных останков, ни бессмертных душ, они прямо-таки наполнены призраками национального воображения[32]. (Вот почему так много разных наций имеют такие могильные памятники, не испытывая при этом ни малейшей потребности уточнять национальность тех отсутствующих, которые в этих могилах покоятся. А кем еще они могут быть, как не немцами, американцами, аргентинцами?..)

Культурное значение таких памятников становится еще более ясным, если попытаться представить себе, скажем, Могилу неизвестного марксиста или Памятник павшим либералам. Можно ли при этом избежать ощущения абсурдности? Дело в том, что ни марксизм, ни либерализм не слишком-то озабочены проблемой смерти и бессмертия. И если националистическое воображение проявляет такую заботу, то тем самым предполагается его тесное духовное родство с религиозным воображением. Поскольку родство это никоим образом не случайное, возможно, полезно будет начать рассмотрение культурных корней национализма со смерти как самой последней в широком ряду фатальностей.

Если то, как человек умирает, обычно кажется в той или иной степени зависящим от обстоятельств, то сама его смертность неизбежна. Человеческие жизни полны таких сочетаний необходимости и случайности. Все мы сознаем случайность и неотвратимость нашего особого генетического наследия, пола, эпохи, в которую нам довелось жить, наших физических способностей, нашего родного языка и т. д. Великой заслугой традиционных религиозных мировоззрений (которую, естественно, следует отличать от их роли в легитимации специфических систем господства и эксплуатации) была их озабоченность человеком-в-космосе, человеком как родовым существом и хрупкостью человеческой жизни. Необычайная жизнеспособность буддизма, христианства или ислама на протяжении многих тысячелетий и в десятках самых разных общественных формаций свидетельствует об их творческой отзывчивости ко всеподавляющему бремени человеческих страданий — болезней, увечий, горя, старости и смерти. Почему я родился слепым? Почему парализован мой лучший друг? Почему умственно отстала моя дочь? Религии пытаются дать всему этому объяснение. Великая слабость всех эволюционно-прогрессистских стилей мышления, в том числе и марксизма, состоит в том, что они отвечают на такие вопросы раздраженным молчанием[33]. В то же время религиозное мышление откликается различными способами и

на смутное ожидание бессмертия, как правило, посредством преобразования фатальности в преемственность (карма, первородный грех и т. д.). В частности, оно проявляет интерес к связям между умершими и еще не родившимися, к таинству перерождения. Найдется ли хоть кто-то, кто переживал бы зачатие и рождение своего ребенка без смутного понимания комбинации связанности, случайности и фатальности на языке «непрерывной преемственности»? (И опять же, недостатком эволюционно-прогрессистского стиля мышления является едва ли не гераклитова враждебность ко всякой идее преемственности.)

Я привожу эти — возможно, незамысловатые — замечания в первую очередь потому, что XVIII столетие в Западной Европе знаменует собой не только восхождение эпохи национализма, но и закат религиозных способов мышления. Век Просвещения и рационалистического секуляризма принес с собой свою собственную современную темноту. С ослаблением религиозной веры страдания, которые вера отчасти приглушала, отнюдь не исчезли. Разрушение рая: ничто не делает фатальность более деспотичной. Абсурдность спасения: ничто не делает более насущным иной стиль преемственности. Если что и требовалось в то время, так это секулярная трансформация фатальности в преемственность, а случайности — в смысл. Как мы позднее увидим, мало что было (и остается до сих пор) более подходящим для этой цели, чем идея нации. Если национальные государства принять в широком допущении как «новые» и «исторические», то нации, которым они дают политическое выражение, всегда как бы выплывают из незапамятного прошлого[34] и, что еще более важно, ускользают в бесконечное будущее. Национализм обладает магическим свойством обращать случай в судьбу. И мы могли бы сказать вместе с Дебре: «Да, то, что я родился французом — совершенно случайно; но, в конце концов, Франция вечна».

Я вовсе не утверждаю (нет необходимости об этом и говорить), будто появление национализма к концу XVIII в. было «произведено» эрозией религиозных убеждений или будто сама эта эрозия не требует сложного объяснения. Не имею я в виду и того, что национализм каким-либо образом исторически «сменяет» религию. Я всего лишь предполагаю, что для понимания национализма следует связывать его не с принимаемыми на уровне самосознания политическими идеологиями, а с широкими культурными системами, которые ему предшествовали и из которых — а вместе с тем и в противовес которым — он появился.

К решению стоящих перед нами задач имеют отношение две культурные системы: религиозное сообщество и династическое государство. Обе они были в пору своего расцвета само собой разумеющимися системами координат, во многом такими же, как сегодня национальность. А потому принципиально важно рассмотреть, что именно придавало этим культурным системам их самоочевидную достоверность, и вместе с тем выделить некоторые ключевые элементы их распада.

Религиозное сообщество

Мало найдется вещей более впечатляющих, чем огромная территориальная протяженность исламской Уммы, раскинувшейся от Марокко до архипелага Сулу, Христианского мира, простирающегося от Парагвая до Японии, и буддистского мира, тянущегося от Шри Ланки до Корейского полуострова. Великие сакральные культуры (в число которых, исходя из наших задач, можно, пожалуй, включить и «конфуцианство») заключали в себе представления о необъятных сообществах. Между тем, и Христианский мир, и исламская Умма, и даже Срединное государство — которое, хотя и мыслится нами сегодня как китайское, представляло себя в собственном воображении не как китайское, а как центральное — могли быть воображены в значительной степени благодаря священному языку и скрижалям. Взять для примера хотя бы ислам: если вдруг в Мекке случалось встретиться магинданао и берберам, ничего не знавшим о языках друг друга и в силу того не способным устно общаться, они, тем не менее, понимали идеограммы друг друга, потому что священные тексты, общие для них, существовали только на классическом арабском. В этом смысле арабское письмо функционировало на манер китайских иероглифов, творя сообщество из знаков, а не из звуков. (Таким образом, математический язык продолжает сегодня старую традицию. Румыны не имеют ни малейшего представления о том, как тайцы называют «+», и наоборот; однако и те, и другие понимают этот символ.) Все великие сообщества классической древности воспринимали себя как центр мира, посредством священного языка связанный с небесным порядком власти. Соответственно, и дальность распространения письменной латыни, пали, арабского или китайского теоретически была неограниченной. (На самом деле, чем мертвее письменный язык — т. е. чем дальше он от разговорной речи, — тем лучше: в принципе, каждый имеет доступ к чистому миру знаков.)

И все же такие сообщества классической древности, объединенные священными языками, отличались по своему характеру от воображаемых сообществ современных наций. Одним из главных отличий была уверенность прежних сообществ в уникальной священности их языков, а стало быть, и их представления о принятии в свой состав новых членов. Китайские мандарины с одобрением смотрели на варваров, мучительно учившихся рисовать иероглифы Срединного государства. Эти варвары были уже на полпути к полной абсорбции[35]. Полуцивилизованный человек был гораздо лучше, чем варвар. Такая установка, безусловно, не была исключительным достоянием китайцев и не ограничивалась древностью. Взять, например, следующую «политику в отношении варваров», сформулированную колумбийским либералом начала XIX в. Педро Фермином де Варгасом:

“ «Для дальнейшего роста нашего сельского хозяйства надобно было бы испанизировать наших индейцев. Их ленивый склад характера, тупость и равнодушие к нормальным человеческим устремлениям наводят на мысль, что они произошли от дегенеративной расы, тем более вырождающейся, чем более она удаляется от места своего происхождения... Было бы весьма желательно, чтобы индейцы были истреблены посредством расового смешения с белыми, объявления их свободными от дани и иных налогов и дарования им права частной собственности на землю».[36]

Насколько поразительно, что этот либерал все-таки предлагает «истребить» своих индейцев, в числе прочего, путем «объявления их свободными от дани» и «дарования им

права частной собственности на землю», вместо того, чтобы истреблять их ружьем и микробом, как вскоре после этого стали делать его идейные наследники в Бразилии, Аргентине и Соединенных Штатах! Кроме снисходительной жестокости, обратите внимание на космический оптимизм: индеец, в конечном счете, исправим — посредством оплодотворения белым, «цивилизованным» семенем и обретения частной собственности — как, впрочем, и кто угодно другой. (Насколько разительно отличается установка Фермина от того предпочтения, которое европейский империалист стал позднее оказывать «чистокровным» малайцам, гуркхам и хауса перед «полукровками», «полуграмотными туземцами», «смуглокожими» и т. п.).

Но если безмолвные священные языки были посредниками, с помощью которых представлялись в воображении великие глобальные сообщества прошлого, то реальность таких призрачных видений зависела от идеи, в значительной степени чуждой нынешнему западному разуму, а именно: идеи неслучайности знака. Идеограммы китайского, латинского или арабского письма были не случайно сфабрированными репрезентациями реальности, а ее эманациями. Нам известны продолжительные споры о подобающем языке (латинском или родном разговорном) для масс. В исламской традиции вплоть до самого недавнего времени Коран был буквально непереводаемым (а потому и не переведенным), ибо истина Аллаха была доступна лишь через незаменимые истинные знаки арабского письма. Здесь нет даже мысли о мире, который был бы настолько отделен от языка, чтобы все языки были для него равноудаленными (а тем самым и взаимозаменяемыми) знаками. В результате, онтологическая реальность постижима лишь через одну-единственную, привилегированную систему репрезентации: истину-язык церковного латинского, коранического арабского или экзаменационного китайского[37]. И как истины-языки, они пропитаны импульсом, в значительной степени чуждым национализму: импульсом к обращению. Под обращением я понимаю не столько принятие особых религиозных убеждений, сколько алхимическую абсорбцию. Варвар становится подданным «Срединного государства», рифф — мусульманином, а илонго — христианином. Вся природа человеческого бытия поддается сакральной обработке. (Сопоставьте престиж этих старых мировых языков, горделиво возвышающихся надо всеми простонародными говорами, с эсперанто или волапюком, которые лежат среди них, не привлекая внимания.) В конце концов, именно эта возможность обращения посредством сакрального языка дала «англичанину» возможность стать папой римским[38], а «маньчжуру» — Сыном Неба.

Но даже если священные языки и открыли возможность воображения таких сообществ, как Христианский мир, действительную масштабность и правдоподобность этих сообществ нельзя объяснить одними только священными письменами: в конце концов, их читатели были крошечными островками грамотности, которые возвышались над бескрайними океанами необразованности[39]. Для более полного объяснения требуется взглянуть на взаимоотношение между образованными людьми и их обществами. Было бы ошибкой видеть в первых своего рода теологическую технократию. Языки, опорой которых они были, пусть даже и трудные для понимания, не имели ничего общего с той самоорганизующейся невразумительностью, которой обладают жаргоны юристов и экономистов, располагающиеся на обочине представления общества о реальности. Образованные люди были скорее адептами, стратегической стратой в той космологической иерархии, в вершине которой располагалось божественное[40]. Основополагающие представления о

«социальных группах» были центрированными и иерархическими, а не ориентированными на границу и горизонтальными. Удивительную власть папского престола в пору его наивысшего могущества можно понять лишь через существование трансевропейского ученого мира, пишущего на латыни, и такого представления о мире, разделяемого буквально каждым, согласно которому двуязычная интеллигенция, выполняющая роль посредника между разговорным языком и латынью, служила также посредником между землей и небом. (Ужас отлучения является отражением этой космологии.)

И все-таки, несмотря на всю грандиозность и могущество великих религиозно воображенных сообществ, их спонтанная когерентность со времен позднего Средневековья неумолимо угасала. Среди причин этого упадка мне бы хотелось особо выделить только две, напрямую связанные с уникальной священностью этих сообществ.

Первой было воздействие освоения неевропейского мира, которое, главным образом в Европе, однако не только в ней одной, послужило мощным толчком к резкому «расширению культурного и географического горизонта, а, тем самым, и представлений о различных возможных укладах человеческой жизни»[41]. Этот процесс уже отчетливо виден в величайших европейских книгах о путешествиях. Обратим внимание на благоговейное описание Кублай-хана, сделанное в конце XIII в. добрым венецианским христианином Марко Поло:

“ «Одержав победу, великий хан с великой пышностью и торжеством вступил в главный город, называемый Камбалу. Было это в ноябре. Прожил он там февраль до марта, когда была наша пасха. Зная, что это один из наших главных праздников, созвал всех христиан и пожелал, чтобы они принесли их книгу, где четыре евангелия. Много раз с великим торжеством воскуря ей, благоговейно целовал ее и приказывал всем баронам и князьям, бывшим там, делать то же. И то же он делал в главные праздники христиан, как в пасху и в рождество, а также в главные праздники сарацин, иудеев и идолопоклонников. А когда его спрашивали, зачем он это делает, великий хан отвечал:

„Четыре пророка, которым молятся и которых почитают в мире. Христиане говорят, что бог их Иисус Христос, сарацины — Мухаммед, иудеи — Моисей, идолопоклонники — Согомом-баркан (Шакьямуни-бархан), первый бог идолов. Я молюсь и почитаю всех четырех, дабы тот из них, кто на небе старший воистину, помогал мне“.

Но было видно, что великий хан почитает христианскую веру за самую истинную и лучшую...»[42].

Что весьма примечательно в этом отрывке, так это не столько спокойный религиозный релятивизм великого монгольского правителя (это все-таки религиозный релятивизм), сколько установка и язык Марко Поло. Ему, несмотря на то, что он пишет для своих европейских собратьев-христиан, просто не приходит в голову назвать Кублая лицемером

или идолопоклонником. (Несомненно, отчасти потому, что «от времен Адама, нашего предка, и доныне не было более могущественного человека, и ни у кого в свете не было стольких подвластных народов, столько земель и столько богатств»[43].) И в неосознаваемом употреблении слова «наш» (которое превращается в «их»), и в описании веры христиан как «самой истинной», а не просто «истинной», мы можем разглядеть семена той территориализации вероисповеданий, которая предвосхищает язык многих националистов («наша» нация «самая лучшая» — в состязательном, сравнительном поле).

Какую бросающуюся в глаза противоположность открывают нашему взору первые строки письма, которое персидский путешественник «Рика» написал в «1712» г. из Парижа своему другу «Иббену»!

“ «Папа — глава христиан. Это старый идол, которому кадят по привычке. Когда-то его боялись даже государи, потому что он смещал их с такой же легкостью, с какой наши великолепные султаны смещают царей Имеретии и Грузии. Но теперь его уже больше не боятся. Он называет себя преемником одного из первых христиан, которого зовут апостолом Петром, и это несомненно — богатое наследие, так как под владычеством папы находится большая страна и огромные сокровища»[44].

Умышленная изощренная подделка католика XVIII столетия является зеркальным отражением наивного реализма его предшественника из XIII в., но теперь уже «релятивизация» и «территориализация» стали совершенно сознательными и по замыслу политическими. Разве не разумно будет увидеть парадоксальное продолжение этой развивающейся традиции в отождествлении аятоллой Рухоллой Хомейни Великого Шайтана не с ересью и даже не с демоническим персонажем (блеклый маленький Картер едва ли подошел бы на эту роль), а с нацией?

Второй причиной было постепенное падение статуса самого священного языка. Размышляя о средневековой Западной Европе, Блок писал, что «латынь была не только языком — носителем образования, она была единственным языком, которому только и обучали»[45]. (Это второе «только» совершенно ясно показывает священность латыни — ни один другой язык не мыслился достойным того, чтобы ему обучали.) Однако к XVI в. все стало быстро меняться. Здесь нет нужды задерживать внимание на причинах этой перемены: центральное значение печатного капитализма будет рассмотрено ниже. Достаточно напомнить самим себе о ее масштабах и скорости. По оценке Февра и Мартена, 77 % книг, напечатанных до 1500 г., были все еще на латинском языке (что, тем не менее, предполагает, что 23 % книг были уже на народных языках)[46]. Если из 88 изданий, напечатанных в Париже в 1501 г., за исключением 8 все были на латыни, то после 1575 г. большинство книг издавалось уже на французском[47]. Несмотря на временное свое возвращение в период Контрреформации, гегемония латинского языка была обречена. И речь здесь идет не просто об общей популярности. Чуть позднее, но с такой же головокружительной скоростью, латынь перестала быть и языком паневропейской высокой интеллигенции. В XVII в. Гоббс (1588–1678) был фигурой, известной на всем континенте, потому что писал на истине-языке. С другой стороны, Шекспир (1564–1616), сочинявший на

родном языке, был фактически неизвестен по ту сторону Ла Манша[48]. И не стань английский две сотни лет спустя господствующим языком мировой империи, разве не мог бы Шекспир, по большому счету, так и остаться в своей изначальной островной безвестности? Между тем, почти современники этих людей, Декарт (1596–1650) и Паскаль (1623–1662), жившие по ту сторону Ла Манша, вели большую часть переписки на латыни; у Вольтера (1694–1778) же практически вся переписка велась на родном языке[49]. «После 1640 г., по мере того как книг на латыни выходило все меньше и меньше, а на национальных языках все больше и больше, книгоиздание переставало быть интернациональным [sic] делом»[50]. Словом, упадок латыни был частным проявлением более широкого процесса, в котором сакральные сообщества, интегрированные старыми священными языками, постепенно все более фрагментировались, плюрализировались и территориализировались.

Династическое государство

В наши дни, наверное, трудно эмпатически перенестись в тот мир, в котором династическое государство представлялось большинству людей единственно вообразимой «политической» системой. Ибо «серьезная» монархия в некоторых основополагающих аспектах идет вразрез со всеми современными представлениями о политической жизни. В королевстве все организуется вокруг высшего центра. Его легитимность исходит от божества, а не от населения, которые, в конце концов, являются подданными, а не гражданами. В современном представлении государственный суверенитет полностью, монотонно и равномерно распространяется на каждый квадратный сантиметр законодательно отграниченной территории. В старом же воображении, в котором государства определялись центрами, границы были проницаемыми и нечеткими, а суверенитеты неощутимо переходили один в другой[51]. Довольно парадоксально, но именно отсюда вытекает та легкость, с которой досовременным империям и королевствам удавалось на протяжении длительных периодов времени удерживать под своей властью чрезвычайно разнородные и часто даже территориально не соприкасавшиеся друг с другом населения[52].

Также необходимо помнить о том, что расширение этих древних монархических государств происходило не только за счет войн, но и благодаря проводимой ими политике брачных отношений — очень отличной по типу от той, которая практикуется сегодня. Через общий принцип вертикальности династические браки объединяли разные населения под новыми вершинами. Парадигматическим в этом отношении был Дом Габсбургов. Известное изречение гласило: *Bella gerant alii tu felix Austria nube!*[53] Вот как выглядит в несколько сокращенной форме титульное обозначение поздних представителей этой династии:

“ «Император Австрии; Король Венгрии, Богемии, Далмации, Хорватии, Славонии, Галиции, Лодомерии и Иллирии; Король Иерусалимский и проч.; Эрцгерцог Австрийский [sic]; Великий Герцог Тосканский и Краковский; Герцог Лот[а]рингский, Зальцбургский, Штирийский, Каринтийский, Краинский и Буковинский; Великий Герцог Трансильванский, Маркграф Моравии; Герцог Верхней и Нижней Силезии, Модены, Пармы, Пьяченцы и

Гуасталлы, Аусшвица и Шатора, Тешена, Фриуля, Рагузы и Зары; Царственный Граф Габсбургский и Тирольский, Кибургский, Герцский и Градискский; Герцог Триентский и Бриценский; Маркграф Верхних и Нижних Лужиц и Истрии; Граф Гогенемский, Фельдкирхский, Брегенцкий, Зоннебергский и проч.; Господин Триеста и Каттаро и повелитель Виндской Марки; Великий Воевода Воеводины, Сербии... и т. д.»[54]

Все это, как справедливо замечает Яси, представляло, «не без некоторого комизма... летопись бесчисленных браков, мелких приобретений и завоеваний Габсбургов».

В государствах, где было религиозно санкционировано многоженство, существенное значение для интеграции государства имела сложная система многоярусных внебрачных сожителств. Не черпали ли, и в самом деле, королевские родословные свой престиж, не говоря уж об ауре божественности, зачастую из — скажем так — смешения родов?[55] Ибо такие смешения были признаками господствующего положения. Характерно, что с XI в. в Лондоне никогда не было правящей «английской» династии (а может, не было и раньше). А какую «национальность» приписать Бурбонам?[56]

В течение XVII столетия, однако — по причинам, на которых нам нет необходимости останавливаться, — автоматическая легитимность священной монархии в Западной Европе постепенно приходила в упадок. В 1649 г., во время первой из революций современного мира, был обезглавлен Карл Стюарт, и в 50-е годы XVII в. одним из важнейших европейских государств управлял уже не король, а Протектор, выходец из плебейских слоев. Тем не менее, даже в век Поупа и Аддисона Анна Стюарт все еще продолжала исцелять больных возложением королевских рук — средством, к которому прибегали также и Бурбоны, Людовики XV и XVI, в просвещенной Франции вплоть до конца *ancien régime*[57]. Однако после 1789 г. принцип Легитимности нужно было громко и продуманно защищать, и в процессе этой защиты «монархия» стала полустандартизированной моделью. Тэнно и Сын Неба стали «императорами». В далеком Сиаме Рама V (Чулалонгкорн) отправил своих сыновей и племянников ко дворам Санкт-Петербурга, Лондона и Берлина для изучения хитросплетений этой мировой модели. В 1887 г. он ввел своим указом принцип наследования-по-законному-первородству, тем самым приведя Сиам «в соответствие с „цивилизованными“ монархиями Европы»[58]. В 1910 г. эта новая система возвела на трон чудаковатого гомосексуала, который в прежние времена определенно остался бы ни с чем. Между тем, межмонархическое одобрение его восхождения на трон под именем Рамы VI было закреплено присутствием на его коронации наследных принцев из Британии, России, Греции, Швеции, Дании — и Японии![59]

Еще в 1914 г. династические государства в мировой политической системе составляли большинство, но, как мы далее подробно покажем, по мере того, как старый принцип Легитимности молчаливо отмирал, представители многих правящих династий стали довольно быстро приобретать характерный «национальный» отпечаток. Если армия Фридриха Великого (правившего в 1740–1786 гг.) была плотно укомплектована «чужеземцами», то армия его внучатого племянника Фридриха Вильгельма III (правившего в 1797–1840 гг.) была благодаря впечатляющим реформам Шарнхорста, Гнейзенау и Клаузевица уже исключительно «национально-прусской»[60].

Восприятие времени

Было бы недальновидно, однако, полагать, будто воображаемые сообщества наций просто выростали из религиозных сообществ и династических государств и становились на их место. За упадком сакральных сообществ, языков и родословных скрывалось глубинное изменение в способах восприятия мира, которое более, чем что бы то ни было, сделало нацию «мыслимой».

Чтобы прочувствовать суть этого изменения, полезно обратиться к визуальным репрезентациям сакральных сообществ, таким, как рельефы и витражи средневековых церквей или полотна ранних итальянских и фламандских мастеров. Характерной особенностью таких репрезентаций является нечто, обманчиво аналогичное «современной одежде». Пастухи, которых звезда привела к яслям, в которых родился Христос, носят черты бургундских крестьян. Дева Мария изображается как дочь тосканского купца. На многих полотнах рядом с пастухами появляется коленопреклоненный патрон-заказчик в костюме бюргера или дворянина. То, что сегодня кажется несообразным, определенно выглядело в глазах средневековых верующих совершенно естественным. Перед нами предстает мир, в котором изображение воображаемой реальности было всеобъемлюще визуальным и акустическим. Христианский мир приобретал свою универсальную форму через мириады специфичностей и партикулярностей: этот рельеф, тот витраж, эту проповедь, то сказание, эту нравоучительную пьесу, ту реликвию. Хотя трансевропейская интеллигенция, читающая на латыни, была одним из существенных элементов в структурировании христианского воображения, опосредование ее представлений для необразованных масс визуальными и слуховыми творениями, всегда персональными и партикулярными, было не менее важным. Скромный приходской священник, предков и личные слабости которого знал каждый, кто слушал его богослужения, все еще оставался прямым посредником между своими прихожанами и божественным. Это соседство космически-универсального и обыденно-партикулярного означало, что сколь бы обширным ни был и ни воспринимался Христианский мир, он по-разному являл себя партикулярным швабским или андалусским сообществам в качестве копии их самих. Изображение Девы Марии с «семитскими» чертами лица или костюмов «первого века» в реставраторском духе современного музея было немыслимым, ибо у средневекового христианского разума не было представления ни об истории как бесконечной цепочке причин и следствий, ни о непреодолимой пропасти между прошлым и настоящим[61]. Как замечает Блок, люди полагали, что неотвратимо приближается конец света, в том смысле, что в любой момент могло произойти второе пришествие Христа: святой Павел говорил, что «день Господень так придет, как тать ночью»[62]. Так, для великого хрониста XII в. епископа Оттона Фрейзингенского было естественно постоянно обращаться к «нам, поставленным у конца времен». Блок приходит к заключению, что лишь только средневековые люди «пускались размышлять, ничто не было им более чуждо, чем предчувствие огромного будущего, открывавшегося перед молодым и дерзновенным родом человеческим»[63].

Ауэрбах дарит нам незабываемый очерк этой формы сознания:

■

«Если такое событие, как жертвоприношение Исаака, воспринимать как прообраз жертвенной смерти Христа, так что первое событие как бы предвещает и обещает второе, а второе „исполняет“ первое... то тем самым сопрягаются два события, которые не соединены между собой ни причинными, ни временными связями, — сопрягаются так, как это вообще нельзя установить рациональным путем в горизонтальном измерении... Сопрягать их таким образом возможно, только если оба события вертикально связаны с Божественным промыслом — лишь провидение может замыслить подобным образом [историю], и оно одно может дать ключ к ее разумению... Момент „здесь и теперь“ — уже не просто звено в земном протекании событий, но нечто такое, что в одно и то же время всегда было и исполнится в будущем. Строго говоря, для Бога, это нечто вечное, всевременное, нечто уже завершённое в своей земной фрагментарности»[64].

Он справедливо подчеркивает, что такое представление об одновременности совершенно чуждо нашему. В нем время рассматривается как что-то близкое к тому, что Бенъямин называет мессианским временем, т. е. к одновременности прошлого и будущего в мимолетном настоящем[65]. В таком взгляде на вещи выражение «тем временем» не может иметь никакой реальной значимости.

Наше представление об одновременности складывалось очень долго, и его появление определено связано — как именно, еще предстоит надлежащим образом выяснить — с развитием мирских наук. Однако это представление имеет настолько основополагающее значение, что если не принять его в полной мере во внимание, то нам будет трудно проанализировать темные истоки национализма. Тем, что явилось на место средневековой концепции одновременности-все-время, было (позаимствуем у Бенъямина еще один термин) представление о «гомогенном, пустом времени», в котором одновременность, так сказать, поперечна, перпендикулярна времени, отмечена не предзнаменованием события и его исполнением, а совпадением во времени, и измеряется с помощью часов и календаря[66].

Почему эта трансформация должна была быть так важна для рождения воображаемого сообщества нации, можно будет лучше всего увидеть, если мы рассмотрим базисную структуру двух форм воображения, впервые расцветших в Европе в XVIII в., а именно: романа и газеты[67]. Ведь именно эти формы дали технические средства для «репрезентирования»[68] того вида воображаемого сообщества, которым является нация.

Сначала рассмотрим структуру старомодного романа — структуру, типичную не только для шедевров Бальзака, но и для любого современного чтива. Она явно представляет собой средство презентации одновременности в «гомогенном, пустом времени», или сложный комментарий к выражению «тем временем». Возьмем для иллюстрации сегмент простого романного сюжета, в котором у мужчины (А) есть жена (В) и любовница (С), а у последней, в свою очередь, есть любовник (D). Своего рода временную схему этого сегмента мы могли бы представить следующим образом:

Время:	I	II	III
События:	<i>A</i> ссорится с <i>B</i> <i>C</i> и <i>D</i> занимаются любовью	<i>A</i> звонит по телефону <i>C</i> <i>B</i> делает покупки <i>D</i> играет в пул	<i>D</i> напивается в баре <i>A</i> дома обедает с <i>B</i> <i>C</i> видит зловещий сон

Заметьте, что на протяжении всей этой последовательности *A* и *D* ни разу не встречаются и могут даже не подозревать о существовании друг друга, если *C* правильно разыграла свою карту[69]. Но что же тогда реально связывает *A* и *D*? Два взаимодополнительных представления. Во-первых, представление о том, что они включены в «общества» (Уэссекс, Любек, Лос-Анджелес). Эти общества представляют собой социологические образования, обладающие столь прочной и стабильной реальностью, что можно даже описать, как их члены (*A* и *D*) проходят мимо друг друга по улице, хотя и не знакомясь, но при этом будучи все-таки связанными[70]. Во-вторых, представление о том, что *A* и *D* запечатлены в умах всеведущих читателей. Только они, подобно Богу, наблюдают, как *A* звонит *C* по телефону, *B* делает покупки, а *D* играет в пул, и видят это все сразу. То, что все эти акты выполняются в одно и то же часовое, календарное время, но актерами, которые могут по большому счету ничего не знать друг о друге, показывает новизну этого воображаемого мира, пробуждаемого автором в умах его читателей[71].

Идея социологического организма, движущегося по расписанию сквозь гомогенное, пустое время, — точный аналог идеи нации, которая тоже понимается как монолитное сообщество, неуклонно движущееся вглубь (или из глубины) истории[72]. Американец никогда не повстречает и даже не будет знать по именам больше чем небольшую горстку из 240 с лишним миллионов своих собратьев-американцев. У него нет ни малейшего представления о том, что они в любой данный момент времени делают. Однако есть полная уверенность в их стабильной, анонимной, одновременной деятельности.

Точка зрения, которую я предлагаю, возможно, покажется не такой уж абстрактной, если прибегнуть к краткому анализу четырех художественных произведений, взятых из разных культур и разных эпох, из которых все, кроме одного, неразрывно связаны с националистическими движениями. В 1887 г. «отец филиппинского национализма» Хосе Рисаль написал роман «Не прикасайся ко мне» («Noli me tangere»), считающийся ныне величайшим достижением современной филиппинской литературы. Кроме того, это был едва ли не первый роман, написанный «туземцем», индио[73]. Вот как восхитительно он начинается:

“ «В конце октября дон Сантьяго де лос Сантос, — или, как его называли, „капитан Тьяго“, — устраивал прием. Вопреки обыкновению приглашения были разосланы лишь после полудня того же дня, однако еще до этого и в Бинондо, и в других поместьях, и даже в самом городе только и говорили о предстоящем приеме. Капитан Тьяго слыл человеком гостеприимным, и было известно, что двери его дома — как и его страны — открыты для всех и вся, если речь, конечно, шла не о торговле и не о какой-нибудь новой и

смелой идее.

Весть о приеме молниеносно распространилась среди прихлебателей, выскочек и прочей шушеры, которую Господь бог сотворил в превеликой своей благости и с таким усердием размножает в Маниле. Кто принялся начищать ботинки, кто — искать запонки и галстуки, но при этом всех волновала одна мысль: как поздороваться с хозяином дома так, чтобы прослыть его давнишним приятелем, а если представится случай — извиниться за то, что не смог выбраться пораньше.

Званный ужин состоялся в одном из особняков на улице Анлоаге, и хотя номера мы не помним, постараемся описать этот дом так, чтобы его легко можно было узнать, если, разумеется, он уцелел после землетрясений. Мы не думаем, чтобы сам хозяин приказал бы его разрушить — такой труд обычно в этих краях берут на себя Бог или Природа, тем самым освобождая наше правительство от излишних хлопот»[74].

Пространного комментария здесь, разумеется, не нужно. Достаточно заметить, что с самого начала образ (совершенно новый для филиппинской словесности) приема, который обсуждается сотнями безымянных людей, не знающих друг друга, в разных районах Манилы в конкретный месяц конкретного десятилетия, непосредственно будит в фантазии воображаемое сообщество. И в выражении «один из особняков на улице Анлоаге», который «мы постараемся описать так, чтобы его легко было узнать», теми, кто мог бы его узнать, являемся мы-филиппинские-читатели. Невольный переход дома из «внутреннего» времени романа во «внешнее» время повседневной жизни [манильского] читателя дает гипнотическое подтверждение монолитности единого сообщества, которое охватывает действующих лиц, автора и читателей, движущихся вперед в потоке календарного времени[75]. Обратите внимание также на общий тон. Хотя Рисаль не имеет ни малейшего представления об индивидуальных идентичностях своих читателей, он письменно обращается к ним с ироничной интимностью, словно их взаимоотношения друг с другом не являются ни в малейшей степени проблематичными[76].

Ничто не дает так почувствовать резкие прерывности сознания в духе Фуко, как сравнение «Noli» с самым известным литературным произведением предшествующего периода, написанным коренным «индио»: «Pinagdaanang Buhay ni Florante at ni Laura sa Cahariang Albania» [«История Флоранте и Лауры в Албанском королевстве»] Франциско Балагтаса (Бальтасара), первое печатное издание которого датировано 1861 г., хотя написано оно было, возможно, еще в 1838 г.[77] Ибо, хотя Балагтас был еще жив, когда родился Рисаль, мир его литературного шедевра во всех основных аспектах чужд миру «Noli». Место действия — сказочная средневековая Албания — крайне удалено во времени и пространстве от Бинондо 1880-х годов. Герои произведения — Флоранте, албанский дворянин-христианин, и его сердечный друг Аладин, персидский аристократ и мусульманин («мор»), — напоминают нам о Филиппинах одной только связкой «христианин — мор». Там, где Рисаль умышленно орошает испаноязычную прозу тагальскими словами для создания «реалистического», сатирического или националистического эффекта, Балагтас, сам не того сознавая, вкрапляет в свои тагальские четверостишия испанские фразы просто для того,

чтобы повысить величественность и звучность своего поэтического слога. Если «Noli» было рассчитано на то, чтобы его читали, то «Florante at Laura» — на то, чтобы его пели вслух. Поразительнее всего то, как Балагтас обращается со временем. Как отмечает Лумбера, «развертывание сюжета не соответствует хронологическому порядку. История начинается in medias res[78], так что полный ее смысл доходит до нас лишь через последовательный ряд речей, служащих короткими ретроспекциями»[79]. Из 399 четверостиший почти половина — это рассказы в беседах с Аладином о детстве Флоранте, студенческих годах, проведенных им в Афинах, и его последующих военных подвигах[80]. «Устное возвращение к прошлому» было для Балагтаса единственной альтернативой прямолинейно выстроенному поступательному повествованию. Если мы и узнаём что-то об «одновременном» прошлом Флоранте и Аладина, то связываются они не структурой повествования, а их переговаривающимися голосами. Как далека эта техника от техники романа: «Той весной, когда Флоранте еще учился в Афинах, Аладина изгнали со двора повелителя...» В итоге, Балагтасу ни разу не приходит в голову «разместить» своих протагонистов в «обществе» или обсуждать их со своей аудиторией. И за исключением сладкозвучного течения тагальских многосложных слов, в его тексте не так уж и много «филиппинского»[81].

В 1816 г., за семьдесят лет до написания «Noli», Хосе Хоакин Фернандес де Лисарди сочинил роман под названием «El Periquillo Sarniento» [«Неутомимый Попугай»], который, очевидно, был первым латиноамериканским произведением в этом жанре. По словам одного критика, текст представляет собой «суровый обвинительный акт испанскому правлению в Мексике: самыми примечательными его чертами выступают невежество, суеверие и коррупция»[82]. Глубинная форма этого «националистического» романа видна из следующего его пересказа:

“ «Поначалу [герой романа, Неутомимый Попугай] попадает под разные дурные влияния: невежественные няньки вбивают ему в голову суеверия, мать потворствует всем его прихотям, учителям не хватает либо призвания, либо способности привить ему дисциплину. И хотя его отец — интеллигентный человек, желающий, чтобы сын занялся полезным делом, а не пополнил ряды юристов и паразитов, именно безгранично любящая Перикильо мать в один прекрасный день посылает своего сына учиться в университет, где он нахватается всякой суеверной ерунды... Перикильо остается неисправимым невеждой, несмотря на многочисленные встречи с добрыми и мудрыми людьми. Он не готов трудиться и не желает принимать ничего всерьез. Сначала он становится священником, потом картежником, вором, учеником аптекаря, доктором, клерком в провинциальном городке... Эти эпизоды позволяют автору описать больницы, тюрьмы, захолустные деревни, монастыри, но в то же время полностью раскрыть главную тему: испанская система управления и образования поощряет паразитизм и лень... По ходу своих приключений Перикильо несколько раз оказывается среди индейцев и негров...»[83].

Здесь в движении героя-одиночки по социологическому ландшафту неподвижности, в которой сплавляются воедино внутренний мир романа и внешний мир, мы вновь видим, как

работает «национальное воображение». Это плутовское tour d'horison — больницы, тюрьмы, захолустные деревни, монастыри, индейцы, негры — не является, однако, tour du monde. Горизонт ясно очерчен: это горизонт колониальной Мексики. Ничто так не убеждает нас в этой социологической монолитности, как вереница множественных чисел. Ибо они вызывают в воображении социальное пространство, наполненное сопоставимыми тюрьмами, из которых ни одна сама по себе не обладает уникальной значимостью, но все (в своем одновременном раздельном существовании) представляют гнетущую атмосферу этой колонии[84]. (Сравните с тюрьмами в Библии. Они никогда не воображаются как типичные для какого-то общества. Каждая, подобно той темнице, где Иоанн Креститель очаровал Саломею, магически стоит особняком.)

И наконец, дабы отвести возможное возражение, что изучаемые нами структуры являются — поскольку Рисаль и Лисарди оба писали на испанском языке — в некотором роде «европейскими», приведем здесь начало рассказа «Semarang Hitam» [Семаранг во мгле], принадлежащего перу молодого индонезийского коммуниста-националиста с печальной судьбой Мас Марко Картодикромо[85]. Рассказ был опубликован по частям в 1924 г.

“ «Была суббота, 7 часов вечера. Обычно никто из молодых в Семаранге не оставался в субботний вечер сидеть дома. Но на этот раз на улицах не было ни души. Из-за лившего весь день напролет проливного дождя на дорогах стало сыро и скользко, и все остались сидеть по домам.

Для работников магазинов и всевозможных контор субботнее утро было временем ожидания — ожидания отдыха и увеселительных вечерних прогулок по городу. Однако в этот вечер их надеждам не суждено было сбыться, виной чему была летаргия, в которую всё погрузилось из-за плохой погоды и дорожной слякоти в кампунгах.

Главные дороги, которые обычно были запружены всевозможными транспортными средствами, и тротуары, по которым обычно сновали туда-сюда пешеходы, теперь были пустыни. Лишь кое-где можно было услышать, как щелкает кнутом кучер, подгоняя лошадей, да цокают копыта, унося куда-то вдаль экипажи.

Семаранг опустел. Ряды газовых фонарей омывали светом блестящую асфальтовую дорогу. Время от времени яркий фонарный свет тускнел, когда с востока налетали порывы ветра...

Молодой человек сидел в длинном ротанговом шезлонге и читал газету. Все его внимание было поглощено чтением. Чередование гнева и улыбки на его лице было верным признаком того, что статья его глубоко заинтересовала. Он перелистал газетные страницы, рассчитывая найти что-нибудь такое, что избавило бы его от хандры. Внезапно взгляд его упал на статью, озаглавленную:

ПРОЦВЕТАНИЕ

„Нищий бродяга заболел и умер на обочине дороги от ненастной погоды“.

Это короткое сообщение взволновало молодого человека. Он тут же живо представил страдания бедняги в то время, как тот лежал, угасая, на обочине... В какое-то мгновение он ощутил, как где-то в глубине его души зреет неудержимый гнев. Потом он почувствовал жалость. А в следующий момент его гнев уже был направлен на общественную систему, которая породила такую нищету, сделав богачами небольшую горстку людей»[86].

Здесь, как и в «El Periquillo Sarniento», мы попадаем в мир множественных чисел: магазинов, контор, экипажей, кампунгов и газовых фонарей. Как и в случае «Noli», мы-индонезийские читатели сразу погружаемся в календарное время и знакомый ландшафт; кто-то из нас, вполне возможно, прогуливался по этим «раскисшим» семарангским дорогам. И, опять-таки, герой-одиночка противопоставлен социошафту[87], дотошно описываемому в общих деталях. Однако тут появляется и кое-что новое: герой, который ни разу не назван по имени, но о котором часто говорится, как о «нашем молодом человеке». Сама неуклюжесть и литературная наивность текста подтверждают не доходящую до самосознания «искренность» этого притяжательного местоимения. Ни у Марко, ни у его читателей нет никаких сомнений по поводу этой референции. Если в иронично-утонченной европейской беллетристике XVIII и XIX вв. троп «наш герой» просто подчеркивает элемент авторской игры с (любим) читателем, то «наш молодой человек» у Марко — не в последнюю очередь в силу самой своей новизны — означает молодого человека, принадлежащего к коллективному телу читателей индонезийского, а тем самым имплицитно и к эмбриональному индонезийскому «воображаемому сообществу». Заметьте, что Марко не испытывает ни малейшей потребности конкретизировать это сообщество по имени: оно уже здесь. (Даже если многоязычные голландские колониальные цензоры могли присоединиться к его читательской аудитории, они исключались из этой «нашести», что можно увидеть из того факта, что гнев молодого человека направлен против общественной системы вообще, а не против «нашей» общественной системы.)

Наконец, воображаемое сообщество удостоверяется двойственностью нашего чтения о чтении нашего молодого человека. Он не находит труп нищего бродяги на обочине размокшей семарангской дороги, а представляет его в воображении, исходя из напечатанного в газете[88]. А кроме того, его ни в малейшей степени не заботит, кем индивидуально был умерший бродяга: он мыслит о репрезентативном теле, а не о персональной жизни.

Показательно, что в «Semarang Hitam» газета включена в художественный вымысел, ибо если мы теперь обратимся к газете как культурному продукту, то будет поражены ее абсолютной вымышленностью. В чем состоит сущностная литературная условность газеты? Если бы мы взглянули на типичную первую страницу, скажем, «Нью-Йорк Таймс», то смогли бы найти на ней новости о советских диссидентах, голоде в Мали, каком-нибудь ужасном убийстве, военном перевороте в Ираке, находке редких окаменелостей в Зимбабве и выступлении Миттерана. Почему эти события соседствуют таким образом? Что связывает их

друг с другом? Не просто каприз. Вместе с тем очевидно, что большинство этих событий происходят независимо, а действующие лица не ведают о существовании друг друга или о том, что другие могут делать. Произвольность их включения и соседства (в следующем выпуске Миттерана заменит какая-нибудь победа бейсболистов) показывает, что связь между ними сотворена воображением.

Эта воображаемая связь проистекает из двух косвенно связанных друг с другом источников. Первый — это простое календарное совпадение. Дата, вынесенная в шапку газеты, единственная и самая важная эмблема, которая в ней есть, обеспечивает сущностную связь — равномерный поступательный часовой отсчет гомогенного, пустого времени[89]. Внутри этого времени «мир» настойчиво семенит вперед. Знак этого: если после двухдневного репортажа о голоде Мали вдруг на несколько месяцев исчезает со страниц «Нью-Йорк Таймс», читателям ни на мгновение не приходит в голову, что Мали исчезло с лица земли или что голод истребил всех его граждан. Романная форма газеты заверяет, что где-то далеко отсюда «персонаж» Мали исподволь движется вперед, ожидая своего следующего появления в сюжете.

Второй источник воображаемой связи кроется во взаимоотношении между газетой как формой книги и рынком. По приблизительным подсчетам, за сорок с небольшим лет, прошедших со времени публикации гутенберговой «Библии» до конца XV столетия, в Европе было произведено более 20 млн. печатных томов[90]. За период с 1500 по 1600 гг. число произведенных томов достигло 150–200 млн.[91] «С самого начала... печатные цеха выглядели более похожими на современные производственные цеха, чем на средневековые монастырские мастерские. В 1455 г. Фуст и Шёффер уже наладили свое дело, приспособленное к стандартизированному производству, а спустя двадцать лет крупные печатные предприятия работали повсеместно по всей [sic] Европе»[92]. В известном смысле, книга была первым промышленным товаром массового производства современного стиля[93]. Можно показать, что собственно я имею в виду, сравнив книгу с другими ранними промышленными продуктами, такими, как текстиль, кирпичи или сахар. Ибо эти товары измеряются математическими суммами (фунтами, лоудами или штуками). Фунт сахара — просто количество, удобный вес, а не предмет сам по себе. Книга же — и в этом смысле она предвосхищает современные товары длительного пользования — является отдельным, самодостаточным предметом, точно воспроизводимым в широких масштабах[94]. Один фунт сахара плавно переходит в следующий; каждая книга же, напротив, имеет собственную затворническую самодостаточность. (Неудивительно, что библиотеки — личные собрания товаров массового производства — уже к XVI в. стали в таких городских центрах, как Париж, привычным элементом домашней обстановки[95].)

С этой точки зрения, газета есть всего лишь «крайняя форма» книги — книга, распродаваемая в широчайших масштабах, но имеющая эфемерную популярность. Нельзя ли сказать о газетах так: бестселлеры-однодневки?[96] Устаревание газеты на следующий же день после выпуска — курьезно, что одному из первых товаров массового производства предстояло в такой степени предвосхитить закономерное устаревание современных товаров длительного пользования, — создает тем не менее (и именно по этой самой причине) одну из ряда вон выходящую массовую церемонию: почти идеально одновременное потребление («воображение») газеты-как-беллетристики. Мы знаем, что те

или иные утренние и вечерние выпуски будут потребляться главным образом между таким-то и таким-то часом, и только в этот день, а не в другой. (Сравните с сахаром, потребление которого протекает в неотмеряемом часами непрерывном потоке; его могут потреблять неправильно, но никогда не могут употребить невовремя.) Эта массовая церемония — а еще Гегель заметил, что газеты заменяют современному человеку утренние молитвы, — имеет парадоксальную значимость. Она совершается в молчаливой приватности, в тихой берлоге черепа[97]. Тем не менее каждый, кто к ней причастен, прекрасно знает, что церемония, которую он выполняет, дублируется одновременно тысячами (или миллионами) других людей, в чьем существовании он уверен, хотя не имеет ни малейшего представления об их идентичности.

Кроме того, эта церемония непрестанно повторяется с интервалом в день или полдня в потоке календарного времени. Можно ли представить себе более живой образ секулярного, исторически отмеряемого часами воображаемого сообщества?[98] В то же время читатель газеты, наблюдая точные повторения своего потребления газеты своими соседями по метро, парикмахерской или месту жительства, постоянно убеждается в том, что воображаемый мир зримо укоренен в повседневной жизни. Как и в случае «*Noli me tangere*», вымысел бесшумно и непрерывно проникает в реальность, создавая ту замечательную уверенность сообщества в анонимности, которая является краеугольным камнем современных наций.

Прежде чем перейти к обсуждению конкретных источников национализма, возможно, будет полезно коротко повторить основные положения, которые были на данный момент выдвинуты. По существу, я утверждал, что сама возможность вообразить нацию возникала исторически лишь там и тогда, где и когда утрачивали свою аксиоматическую власть над людскими умами три основополагающих культурных представления, причем все исключительно древние. Первым было представление о том, что какой-то особый письменный язык дает привилегированный доступ к онтологической истине, и именно потому, что он — неотделимая часть этой истины. Именно эта идея породила великие трансконтинентальные братства христианского мира, исламской Уммы и т. д. Второй была вера в то, что общество естественным образом организуется вокруг высших центров и под их властью: монархов, которые были лицами, обособленными от других людей, и правили благодаря той или иной форме космологического (божественного) произволения. Лояльности людей непременно были иерархическими и центростремительными, так как правитель, подобно священному писанию, был центром доступа к бытию и частью этого бытия. Третьим было такое представление о темпоральности, в котором космология и история были неразличимы, а истоки мира и людей — в глубине своей идентичны. Сочетаясь, эти идеи прочно укореняли человеческие жизни в самой природе вещей, придавая определенный смысл повседневным фатальностям существования (прежде всего, смерти, лишению и рабству) и так или иначе предлагая от них избавление.

Медленный, неровный упадок этих взаимосвязанных убеждений, произошедший сначала в Западной Европе, а потом везде под воздействием экономических изменений, «открытий» (социальных и научных) и развития все более быстрых коммуникаций, вбил клин между космологией и историей. Отсюда неудивительно, что происходил поиск, так сказать, нового способа, с помощью которого можно было бы осмысленно связать воедино братство, власть и время. И, наверное, ничто так не способствовало ускорению этого поиска и не делало его

столь плодотворным, как печатный капитализм, открывший для быстро растущего числа людей возможность осознать самих себя и связать себя с другими людьми принципиально новыми способами.

3. Истоки национального сознания

Хотя развитие печати-как-товара и служит ключом к зарождению совершенно новых представлений об одновременности, мы все-таки остаемся пока в той точке, где сообщества «горизонтально-секулярного, поперечно-временного» типа становятся просто возможными. Почему в рамках этого типа стала так популярна нация? Причастные к этому факторы, разумеется, сложны и многообразны. Но вместе с тем, можно привести веские доводы в пользу первичности капитализма.

Как уже отмечалось, к 1500 г. было напечатано как минимум 20 млн. книг[99], и это сигнализировало о начале беньяминовской «эпохи механического воспроизводства». Если рукописное знание было редким и сокровенным, то печатное знание жило благодаря воспроизводимости и распространению[100]. Если, как полагают Февр и Мартен, к 1600 г. действительно было выпущено целых 200 млн. томов, то неудивительно, что Фрэнсис Бэкон считал, что печать изменила «облик и состояние мира»[101].

Будучи одной из старейших форм капиталистического предприятия, книгоиздание в полной мере пережило присущий капитализму неугомонный поиск рынков. Первые книгопечатники учредили отделения по всей Европе: «тем самым был создан настоящий „интернационал“ издательских домов, презревший национальные [sic] границы»[102]. А поскольку 1500–1550 гг. в Европе были периодом небывалого расцвета, книгопечатание получило свою долю в этом общем буме. «Более, чем когда бы то ни было», оно было «великой отраслью индустрии, находившейся под контролем состоятельных капиталистов»[103]. Естественно, «книгопродавцы прежде всего заботились о получении прибыли и продаже своей продукции, а потому в первую очередь и прежде всего выискивали те произведения, которые представляли интерес для как можно большего числа их современников»[104].

Первоначальным рынком была грамотная Европа — обширный, но тонкий слой читателей на латыни. Насыщение этого рынка заняло около ста пятидесяти лет. Определяющим фактом, касающимся латыни, — помимо его сакральности — было то, что это был язык билингвистов. Людей, рожденных на нем говорить, было относительно немного, и еще меньше, как нетрудно себе представить, было тех, кто на нем видел сны. В XVI в. доля билингвистов в общем населении Европы была весьма небольшой и, вполне вероятно, не превышала той доли, которую они имеют в мировом населении сегодня и будут иметь — невзирая на пролетарский интернационализм — в грядущие столетия. Основная масса населения была и остается одноязычной. Логика капитализма работала таким образом, что как только элитный латинский рынок был насыщен, должны были стать заманчивыми потенциально огромные рынки, представляемые моноязычными массами. Разумеется, Контрреформация спровоцировала временное возрождение латиноязычных публикаций, но к середине XVII в.

это движение пошло на убыль, а богатые католические библиотеки были уже переполнены. Тем временем общеевропейский дефицит денег все более и более побуждал книгоиздателей задуматься о торговле дешевыми изданиями на родных языках[105].

Революционное вернакуляризирующее[106] давление капитализма получило дополнительный толчок со стороны трех внешних факторов, два из которых внесли непосредственный вклад в рост национального сознания. Первым и, в конечном счете, наименее важным фактором было изменение в характере самой латыни. Благодаря стараниям гуманистов, пытавшихся возродить обширную литературу дохристианской древности и распространить ее через рынок печатной продукции, в кругах трансевропейской интеллигенции явно сложилась новая оценка утонченных стилистических достижений древних. Латынь, на которой они стремились писать, становилась все более цicerоновской и, что то же самое, все более далекой от церковной и повседневной жизни. Тем самым она приобретала эзотерическое качество, совершенно отличное от того, которое имела церковная латынь во времена Средневековья. Ведь прежняя латынь была сокровенна не из-за ее содержания или стиля, а просто потому, что была письменной, т. е. в силу ее текстового статуса. Теперь она стала загадочной в силу того, что на ней писали, в силу языка-самого-по-себе.

Вторым фактором было влияние Реформации, которая одновременно во многом была обязана своим успехом печатному капитализму. До наступления эпохи книгопечатания Рим легко выигрывал в Западной Европе каждую войну против ереси, поскольку внутренние линии коммуникации у него всегда были лучше, чем у его противников. Однако когда в 1517 г. Мартин Лютер вывесил на церковных воротах в Виттенберге свои тезисы, они были напечатаны в немецком переводе и «в течение 15 дней [были] увидены во всех уголках страны»[107]. За два десятилетия, с 1520 до 1540 гг., книг на немецком языке было опубликовано втрое больше, чем в период с 1500 по 1520 гг. И в этой удивительной трансформации Лютер, безусловно, был центральной фигурой. Его сочинения составили не менее трети всех книг на немецком языке, проданных с 1518 по 1525 гг. За период с 1522 по 1546 гг. было выпущено в свет 430 полных или частичных изданий его переводов Библии. «Здесь мы впервые сталкиваемся с поистине массовой читательской аудиторией и популярной литературой, доступной каждому»[108]. В результате, Лютер стал первым автором бестселлеров, известным в качестве такового. Или, если выразиться иначе, первым автором, который мог «продавать» свои новые книги, опираясь на свое имя[109].

В направлении, указанном Лютером, быстро последовали другие; они развернули колоссальную религиозную пропагандистскую войну, которая охватила в следующем веке всю Европу. В этой титанической «битве за души людей» протестантизм всегда вел себя наступательно, поскольку знал, какую пользу можно извлечь из растущего рынка печатной продукции на родном языке, создаваемого капитализмом; Контрреформация же в это время обороняла цитадель латыни. Внешним символом этого служит выпущенный Ватиканом Index Librorum Prohibitorum[110], не имеющий аналогов в протестантизме каталог запрещенных произведений, необходимость в котором была вызвана самим размахом книгопечатной подрывной деятельности. Ничто не дает такого ясного ощущения этого осадного менталитета, как панический запрет, наложенный в 1535 г. Франциском I на печатание каких бы то ни было книг в его королевстве — под угрозой смертной казни через повешение! Причина самого этого запрета и того, что его невозможно было провести в

жизнь, заключалась в том, что к этому времени восточные границы его государства были окружены кольцом протестантских государств и городов, производивших массовый поток контрабандной печатной продукции. Взять хотя бы одну кальвиновскую Женеву: если за период с 1533 по 1540 гг. здесь было выпущено всего 42 издания, то в период с 1550 по 1564 гг. их число подскочило до 527, а на исходе этого периода не менее 40 самостоятельных типографий работали сверхурочно[111].

Эксплуатируя дешевые популярные издания, коалиция протестантизма и печатного капитализма быстро создавала огромные новые читательские публики — не в последнюю очередь среди купцов и женщин, которые, как правило, либо плохо знали, либо вовсе не знали латынь, — и одновременно мобилизовывала их на политико-религиозные цели. Это неизбежно потрясло до самого основания не только Церковь. То же землетрясение породило в Европе первые влиятельные нединастические, негородские государства — в Голландской республике и в пуританском Содружестве. (Паника Франциска I была в такой же степени политической, в какой и религиозной.)

Третьим фактором было медленное, географически неравномерное распространение специфических родных языков как инструментов административной централизации, используемых некоторыми занимавшими прочное положение монархами, претендовавшими на абсолютность своей власти. Здесь полезно вспомнить, что универсальность латыни в средневековой Западной Европе никогда не соотносилась с универсальной политической системой.

Поучителен контраст с императорским Китаем, где границы мандаринской бюрократии и сферы распространения рисованных иероглифов в значительной степени совпадали. Таким образом, политическая фрагментация Западной Европы после крушения Западной Римской империи означала, что ни один суверен не мог монополизировать латынь и сделать ее своим-и-только-своим государственным языком; а стало быть, религиозный авторитет латыни никогда не имел подлинного политического аналога.

Рождение административных родных языков опередило по времени как печать, так и религиозный переворот XVI столетия, и, следовательно, его необходимо рассматривать (по крайней мере предварительно) как самостоятельный фактор эрозии сакрального воображаемого сообщества. В то же время ничто не указывает на то, что это ородноязычивание — там, где оно происходило, — опиралось на какие-либо идеологические, хотя бы всего лишь протонациональные, импульсы. В этой связи особенно показателен случай «Англии», находившейся на северо-западной окраине латинской Европы. До норманнского завоевания литературным и административным языком королевского двора был англосаксонский. В последующие полтора столетия фактически все королевские документы составлялись на латыни. В период с 1200 до 1350 гг. эта государственная латынь уступила место норманнскому французскому. Тем временем из медленного сплавления этого языка иноземного правящего класса с англосаксонским языком подвластного населения родился староанглийский язык. Это сплавление позволило новому языку после 1362 г. занять, в свою очередь, место юридического языка, а также сделало возможным открытие парламента. В 1382 г. последовала рукописная Библия Уиклифа на родном языке[112]. Важно иметь в виду, что это была последовательность

«государственных», а не «национальных» языков, и что государство, о котором идет речь, охватывало в разное время не только нынешние Англию и Уэльс, но и части Ирландии, Шотландии и Франции. Разумеется, широкие массы подданных этого государства либо знали плохо, либо вообще не знали ни латинский язык, ни норманнский французский, ни староанглийский[113]. Прошло почти столетие после политического воцарения староанглийского языка, прежде чем власти Лондона наконец-то избавились от «Франции».

На берегах Сены шло аналогичное движение, хотя не так быстро. Как иронично пишет Блок, «французский язык, который, слывя просто-напросто испорченной латынью, лишь через несколько веков был возведен в ранг литературного языка»[114], стал официальным языком судов лишь в 1539 г., когда Франциск I издал эдикт Виллер-Котре[115]. В других династических государствах латынь сохранилась гораздо дольше: при Габсбургах ею пользовались еще в XIX в. В третьих возобладали «иностраные» языки: в XVIII в. языками Дома Романовых были французский и немецкий[116].

В любом случае «выбор» языка производит впечатление постепенного, неосознаваемого, прагматичного, если не сказать случайного процесса. И будучи таковым, он разительно отличался от сознательной языковой политики, проводимой монархами XIX в. перед лицом нарастания агрессивных народных языковых национализмов. (См. ниже главу 6.) Одним из явных признаков этого отличия служит то, что старые административные языки были именно административными: языки, используемые чиновничеством и для чиновничества ради его собственного внутреннего удобства. Не было и мысли о систематическом насаждении этого языка разным населением, находившимся под властью монархов[117]. Тем не менее возведение этих родных языков в статус языков-власти, где они в некотором смысле конкурировали с латынью (французский в Париже, [старо]английский в Лондоне), внесло свой вклад в упадок воображаемого сообщества христианского мира.

В сущности, представляется вероятным, что эзотеризация латыни, Реформация и спонтанное развитие административных родных языков значимы в данном контексте прежде всего в негативном смысле — с точки зрения их вклада в ниспровержение латыни. Вполне возможно представить рождение новых воображаемых национальных сообществ при отсутствии любого, а возможно и всех этих факторов. Что в позитивном смысле сделало эти новые сообщества вообразимыми, так это наполовину случайное, но вместе с тем взрывное взаимодействие между системой производства и производственных отношений (капитализмом), технологией коммуникаций (печатью) и фатальностью человеческой языковой разнородности[118].

Здесь существенен элемент фатальности. На какие бы сверхчеловеческие подвиги ни был способен капитализм, в смерти и языках он находил двух неподатливых противников[119]. Какие-то конкретные языки могут умирать или стираться с лица земли, но не было и нет возможности всеобщей языковой унификации человечества. И все же эта взаимная языковая непостижимость имела исторически лишь очень небольшую значимость, пока капитализм и печать не создали монопольные массовые читающие публики.

Хотя важно не упускать из виду идею фатальности (в смысле общего состояния непоправимой языковой разнородности), было бы ошибкой приравнивать эту фатальность к

тому общему элементу националистических идеологий, который подчеркивает прирожденную фатальность конкретных языков и их связь с конкретными территориальными единицами. Главное здесь — взаимодействие между фатальностью, технологией и капитализмом. В докинопечатной Европе и, разумеется, повсюду в мире различие устных языков — тех языков, которые для людей, на них говорящих, составляли (и составляют) саму основу их жизни, — было колоссальным: по сути дела, настолько колоссальным, что если бы печатный капитализм попытался подчинить эксплуатации каждый потенциальный рынок устного языка, он так и остался бы капитализмом крошечных пропорций. Но эти изменчивые идиолекты можно было собрать в определенных границах в печатные языки, которых было намного меньше. Этому процессу собирания способствовала сама произвольность любой системы знаков, обозначающих звуки[120]. (В то же время, чем более идеографичны знаки, тем шире потенциальная зона собирания. Можно различить здесь некоторого рода иерархию, в вершине которой располагается алгебра, в середине — китайский и английский языки, а в основании — регулярные слоговые азбуки французского или индонезийского языков.) И ничто так не служило «собираению» родственных устных языков, как капитализм, сотворивший в пределах, установленных грамматиками и синтаксисами, механически воспроизводимые печатные языки, способные к распространению вширь с помощью рынка[121].

Эти печатные языки закладывали основы национального сознания тремя разными способами. Во-первых и в первую очередь, они создавали унифицированные поля обмена и коммуникации, располагавшиеся ниже латыни, но выше местных разговорных языков. Люди, говорившие на колоссальном множестве французских, английских или испанских языков, которым могло оказываться трудно или даже невозможно понять друг друга в разговоре, обрели способность понимать друг друга через печать и газету. В этом процессе они постепенно стали сознавать присутствие сотен тысяч или даже миллионов людей в их особом языковом поле, но одновременно и то, что только эти сотни тысяч или миллионы к нему принадлежали. И именно эти сочитатели, с которыми они были связаны печатью, образовали в своей секулярной, партикулярной, зримой незримости зародыш национально воображаемого сообщества.

Во-вторых, печатный капитализм придал языку новую устойчивость, которая в долгосрочной перспективе помогла выстроить образ древности, занимающий столь важное место в субъективном представлении о нации. Как напоминают нам Февр и Мартен, печатная книга сохраняла постоянную форму, способную к фактически бесконечному воспроизведению во времени и пространстве. Теперь она уже не была подчинена индивидуализирующим и «неосознанно модернизирующим» привычкам монастырских переписчиков. Так, если французский язык XII в. заметно отличался от того, на котором писал в XV в. Вийон, то в XVI в. темп его изменения решительно замедлился. «К XVII столетию языки в Европе, как правило, уже приняли свои современные формы»[122]. Иначе говоря, вот уже на протяжении трех столетий эти стабилизированные печатные языки приобретают цветовое насыщение, но не более того; слова наших предков, живших в XVII в., доступны нам так, как не были доступны Вийону слова его предков из XII в.

В-третьих, печатный капитализм создал такие языки-власти, которые были отличны по типу от прежних административных местных наречий. К каждому из печатных языков некоторые

диалекты неизбежно были «ближе»; они и определили их конечные формы. Их обделенные удачей собратья, все еще поддающиеся ассимиляции складывающимся печатным языком, утратили привилегированное положение, и в первую очередь потому, что оказались безуспешными (или лишь относительно успешными) их попытки настоять на собственной печатной форме. «Северо-западный немецкий» превратился в Platt Deutsch[123], преимущественно разговорный, а следовательно, просторечный немецкий язык, потому что поддавался ассимиляции печатно-немецким языком так, как не поддавался ей богемский разговорный чешский. Верхненемецкий, королевский английский, а позднее центральный тайский языки были соответственно подняты на уровень новой политико-культурной значимости. (Отсюда борьба, поднятая во второй половине XX в. в Европе некоторыми «суб»-национальностями за преодоление своего подчиненного статуса посредством настойчивого вторжения в печать — и на радио.)

Остается лишь подчеркнуть, что в своих истоках застывание печатных языков и дифференциация их статусов были по большей части процессами неосознанными, вызванными взрывным взаимодействием капитализма, технологии и человеческой языковой разнородности. Однако — и так в истории национализма было почти со всем, — стоило лишь им «появиться», как они могли стать формальными моделями для подражания и там, где это было выгодно, могли сознательно эксплуатироваться в духе Макиавелли. Сегодня тайское правительство активно препятствует попыткам зарубежных миссионеров обеспечить его горно-племенные меньшинства собственными транскрипционными системами и развить издание литературы на их языках: и этому же самому правительству нет по большому счету никакого дела до того, что эти меньшинства говорят. Судьба тюркоязычных народов в зонах, которые входят ныне в состав Турции, Ирана, Ирака и СССР, особенно показательна. Семья разговорных языков, некогда повсеместно поддававшихся собиранию, а тем самым и пониманию в рамках арабской орфографии, утратила это единство в результате сознательных манипуляций. С целью возвысить турецкий язык — национальное сознание Турции — в ущерб любой более широкой исламской идентификации Ататюрк провел принудительную романизацию[124]. Советские власти последовали его примеру: сначала была осуществлена антиисламская, антиперсидская принудительная романизация, а затем, в сталинские тридцатые, русифицирующая принудительная кириллизация[125].

Мы можем подытожить выводы из приведенных выше рассуждений, сказав, что соединение капитализма и техники книгопечатания в точке фатальной разнородности человеческого языка сделало возможной новую форму воображаемого сообщества, базисная морфология которого подготовила почву для современной нации. Потенциальная протяженность этих сообществ была неизбежно ограниченной и в то же время имела не более чем случайную связь с существующими политическими границами (которые, в общем и целом, были предельными достижениями династических экспансионизмов).

Вместе с тем, очевидно, что хотя почти у всех современных «наций», считающих себя таковыми, — а также у наций-государств — есть сегодня свои «национальные печатные языки», для многих из них эти языки являются общими, а в других лишь малая часть населения «использует» национальный язык в разговоре или на бумаге. Яркими примерами первого результата служат национальные государства испанской Америки или

«англосаксонской семьи»; примерами второго — многие бывшие колониальные государства, особенно в Африке. Иначе говоря, конкретные территориальные очертания нынешних национальных государств никоим образом не изоморфны установившимся границам распространения тех или иных печатных языков. Чтобы объяснить ту прерывность-в-связности, которая существует между печатными языками, национальным сознанием и нациями-государствами, необходимо обратиться к большой группе новых политических единиц, возникших в 1776–1838 гг. в Западном полушарии, которые сознательно определили себя как нации и — за любопытным исключением Бразилии — как (нединастические) республики. Ибо они не только были первыми государствами такого рода, исторически возникшими на мировой арене, а следовательно, с необходимостью давшими первые реальные модели того, как такие государства должны «выглядеть»; но сама их численность и одновременность рождения дают плодотворную почву для сравнительного исследования.

4. Креольские пионеры

Новые американские государства конца XVIII — начала XIX вв. необычайно интересны, поскольку, видимо, почти невозможно объяснить их теми двумя факторами, которые — вероятно, из-за прямой их выводимости из европейских национализмов середины века — в немалой степени определили провинциальное европейское понимание подъема национализма.

Во-первых, ведем ли мы речь о Бразилии, США или бывших колониях Испании, во всех этих случаях язык не был элементом, дифференцирующим их от соответствующих имперских метрополий. Все они, в том числе США, были креольскими государствами, которые создали и возглавляли люди, имевшие общий язык и общее происхождение с теми, против кого они боролись[126]. На самом деле, можно уверенно сказать, что в их ранней борьбе за национальное освобождение вопрос о языке никогда даже не ставился.

Во-вторых, есть серьезные основания усомниться в применимости к большей части Западного полушария убедительного во всех иных отношениях тезиса Нейрна, который гласит:

“ «Пришествие национализма, в сугубо современном смысле этого слова, было связано с политическим крещением низших классов... Хотя иной раз националистические движения и были враждебны демократии, они неизменно были популистскими по мировоззрению и стремились вовлечь в политическую жизнь низшие классы. В наиболее типичной своей версии это отлилось в форму неустанного лидерства среднего класса и интеллектуалов, пытавшихся всколыхнуть силы народного класса и направить их на поддержку новых государств»[127].

В конце XVIII в. «средние классы» европейского типа, по крайней мере в Южной и Центральной Америке, были все еще незначительны. Не было там и того, что было бы достаточно похоже на нашу интеллигенцию. Ибо «в те спокойные колониальные дни чтение почти не прерывало размеренный и снобистский ритм жизни людей»[128]. Как мы уже видели, первый испано-американский роман был опубликован лишь в 1816 г., много лет спустя после того, как разразились войны за независимость. Это ясно свидетельствует о том, что лидерство в этих войнах принадлежало состоятельным землевладельцам, выступавшим в союзе с несколько меньшим числом торговцев и разного рода профессионалов (юристов, военных, местных и провинциальных функционеров)[129].

В таких важных случаях, как Венесуэла, Мексика и Перу, одним из ключевых факторов, который с самого начала подстегивал стремление к независимости от Мадрида, было вовсе не стремление «вовлечь низшие классы в политическую жизнь», а, напротив, страх перед политическими мобилизациями «низших классов»: а именно, восстаниями индейцев или

негров-рабов[130]. (Этот страх лишь возрос, когда в 1808 г. гегелевский «секретарь мирового духа» покорила Испанию, лишив тем самым креолов военной поддержки с полуострова на случай возникновения чрезвычайной ситуации.) В Перу были еще свежи воспоминания о великой жакерии под предводительством Тупака Амару (1780–1781)[131]. В 1791 г. Туссен-Лувертюр возглавил восстание чернокожих рабов, которое привело к рождению в 1804 г. второй независимой республики в Западном полушарии — и до смерти напугало крупных плантаторов-рабовладельцев Венесуэлы[132]. Когда в 1789 г. Мадрид издал новый, более гуманный закон о рабах, в котором детально расписывались права и обязанности хозяев и рабов, «креолы отвергли вмешательство государства, ссылаясь на то, что рабы склонны к пороку и независимости [!] и необходимы для хозяйства. В Венесуэле — и, по существу, во всех испанских владениях на Карибах — плантаторы выступили против этого закона и добились в 1794 г. его приостановки»[133]. Освободитель Боливар и сам некогда считал, что негритянский бунт «в тысячу раз хуже, чем испанское вторжение»[134]. Не следует забывать и о том, что аграрными магнатами-рабовладельцами были многие лидеры движения за независимость в тринадцати колониях. Даже Томас Джефферсон принадлежал к числу виргинских плантаторов, гневно отреагировавших в 70-е годы XVIII в. на лоялистское заявление губернатора об освобождении рабов, порвавших отношения со своими хозяевами-бунтарями[135]. Показательно, что одна из причин, позволивших Мадриду в 1814–1816 гг. успешно вернуть свои утраченные было позиции в Венесуэле и до 1820 г. удерживать под своей властью далекий Кито, состояла в том, что в борьбе против взбунтовавшихся креолов он завоевал поддержку рабов (в первой) и индейцев (в последнем)[136]. Более того, продолжительность континентальной борьбы против Испании, ставшей к тому времени второразрядной европейской державой, которая вдобавок к тому и сама только что была завоевана, предполагает некоторую «социальную узость» этих латиноамериканских движений за независимость.

И все-таки это были движения за национальную независимость. Боливар позже изменил свое мнение о рабах[137], а его соратник-освободитель Сан-Мартин в 1821 г. постановил, дабы «в будущем местных жителей не называли более индейцами или туземцами; они дети и граждане Перу и впредь будут известны как перуанцы»[138]. (Мы могли бы добавить: невзирая на то, что печатный капитализм до сих пор так и не добрался до этих неграмотных людей.)

Итак, здесь есть загадка: почему именно креольские сообщества так рано сформировали представление о том, что они нации, — задолго до большинства сообществ Европы? Почему такие колониальные провинции, обычно содержавшие большие, угнетенные, не говорившие по-испански населения, породили креолов, сознательно переопределивших эти населения как собратьев по нации? А Испанию[139], с которой они были столь многим связаны, — как враждебных иностранцев? Почему испано-американская империя, безмятежно существовавшая на протяжении почти трех столетий, вдруг неожиданно распалась на восемнадцать самостоятельных государств?

Двумя факторами, на которые, объясняя это, чаще всего ссылаются, являются ужесточение контроля со стороны Мадрида и распространение во второй половине XVIII века освободительных идей Просвещения. Несомненно, верно, что политика, проводимая талантливым «просвещенным деспотом» Карлом III (правил в 1759–1788 гг.) все более

разочаровывала, сердила и тревожила высшие креольские классы. В ходе того, что иногда язвительно называли вторым покорением Америк, Мадрид насаждал новые налоги, делал более эффективным их сбор, насильно утверждал торговый монополизм метрополии, ограничивал в свою пользу внутреннюю торговлю в Западном полушарии, централизовывал административные иерархии и поощрял массовую иммиграцию peninsulares[140][141]. Например, Мексика в начале XVIII в. приносила Короне годовой доход в размере около 3 млн. песо. Но уже к концу столетия эта сумма возросла почти в пять раз и достигла 14 млн., из которых лишь 4 млн. уходило на покрытие расходов местной администрации[142]. Параллельно этому наплыв мигрантов с полуострова вырос к десятилетию 1780–1790 гг. в пять раз по сравнению с периодом 1710–1730 гг.[143]

Нет сомнений и в том, что совершенствование трансатлантических сообщений и то обстоятельство, что различные Америки разделяли со своими метрополиями общие языки и культуры, предполагали относительно быструю и легкую передачу новых экономических и политических доктрин, производимых в Западной Европе. Успех бунта тринадцати колоний в конце 1770-х и начало Французской революции в конце 1780-х просто не могли не оказать своего могущественного влияния. Ничто не подтверждает эту «культурную революцию» более, чем всепроникающее республиканство новообразованных независимых сообществ[144]. Нигде в Америках не предпринималось сколь-нибудь серьезных попыток возродить династический принцип, за исключением разве что Бразилии; но даже и там это, вероятно, оказалось бы невозможно, если бы в 1808 г. туда не иммигрировал, спасаясь от Наполеона, сам португальский монарх. (Он оставался там на протяжении 13 лет и по возвращении на родину короновал собственного сына как Педру I Бразильского.)[145]

Вместе с тем, агрессивность Мадрида и дух либерализма, хотя и имеют ключевое значение для понимания импульса к сопротивлению в испанских Америках, еще не объясняют сами по себе ни того, почему такие единицы, как Чили, Венесуэла и Мексика, оказались эмоционально правдоподобны и политически жизнеспособны[146], ни того, почему Сан-Мартину пришлось издать закон, требовавший идентифицировать определенный контингент коренного населения с помощью неологизма «перуанцы». Не объясняют они, в конечном счете, и принесенных реальных жертв. Ибо в то время как высшие креольские классы, понимаемые как исторические социальные образования, на протяжении долгого времени, бесспорно, прекрасно обходились без независимости, многие реальные члены этих классов, жившие в промежутке между 1808 и 1828 гг., оказались в состоянии финансового краха. (Взять хотя бы один пример: во время развернутого Мадридом в 1814–1816 гг. контрнаступления «более двух третей землевладельческих семей Венесуэлы пострадали от конфискаций».)[147] И столь же многие добровольно отдали за общее дело свои жизни. Эта готовность к жертвам со стороны благополучных классов дает пищу для размышлений.

Что же тогда даст нам искомое объяснение? Первую зацепку для ответа на этот вопрос мы находим в том поразительном факте, что «каждая из новообразованных южноамериканских республик была с XVI до XVIII вв. административной единицей»[148]. В этом отношении они стали предвестницами новых государств, появившихся в середине XX в. в Африке и разных районах Азии, и разительно отличаются от новых европейских государств конца XIX — начала XX вв. Первоначальные очертания американских административных единиц были в какой-то степени произвольными и случайными, помечая пространственные пределы

отдельных военных завоеваний. Но под влиянием географических, политических и экономических факторов они обрели со временем более прочную реальность. Сама обширность испано-американской империи, необычайное разнообразие ее почв и климатов и, прежде всего, исключительная затруднительность коммуникаций в доиндустриальную эпоху способствовали приданию этим единицам самостоятельного характера. (В колониальную эпоху морское путешествие из Буэнос-Айреса в Акапулько занимало четыре месяца, а обратная дорога и того больше; сухопутная поездка из Буэнос-Айреса в Сантьяго длилась обычно два месяца, а поездка в Картахену — и все девять.)[149] Вдобавок к тому, торговая политика Мадрида привела к превращению административных единиц в отдельные экономические зоны. «Всякая конкуренция с родной страной была американцам запрещена, и даже отдельные части континента не могли торговать друг с другом. Американским товарам, переправляемым из одного уголка Америки в другой, приходилось путешествовать окружным путем через испанские порты, и испанский флот обладал монополией на торговлю с колониями»[150]. Эти обстоятельства помогают объяснить, почему «одним из основных принципов американской революции» был принцип «*uti possidetis*, согласно которому каждой нации следовало соблюдать территориальный статус-кво 1810 г. — года, на который приходится начало движения за независимость»[151]. Их влияние также, несомненно, внесло свой вклад в распад недолго просуществовавшей Великой Колумбии Боливара и Объединенных провинций Рио-де-ла-Платы на их прежние составные части (известные в настоящее время как Венесуэла — Колумбия — Эквадор и Аргентина — Уругвай — Парагвай — Боливия). Тем не менее, сами по себе рыночные зоны, будь то «естественно»-географические или политико-административные, не создают привязанностей. Найдется ли хоть кто-нибудь, кто добровольно пожертвует жизнью за СЭВ или ЕЭС?

Чтобы увидеть, как административные единицы с течением времени могли быть восприняты как отечества, причем не только в Америках, но и в других частях земного шара, необходимо обратиться к тому, каким образом административные организации создают смысл. Антрополог Виктор Тернер восхитительно описал «путешествие» — между временами, статусами и местами — как смыслопорождающий опыт[152]. Все такие путешествия требуют интерпретации (например, путешествие от рождения к смерти породило различные религиозные представления). Для целей, которые мы здесь перед собой ставим, моделью путешествия служит паломничество. Дело не просто в том, что в умах христиан, мусульман или индусов такие города, как Рим, Мекка или Бенарес, были центрами сакральных географий, но и в том, что их центральность переживалась и «наглядно воплощалась» (в драматургическом смысле) постоянным потоком паломников, движущихся в их сторону из отдаленных и иным образом никак не связанных друг с другом местностей. В сущности, внешние пределы старых религиозных сообществ воображения в некотором смысле определялись тем, какие паломничества совершали люди[153]. Как уже ранее отмечалось, странное физическое соседство малайцев, персов, индийцев, берберов и турок в Мекке есть нечто непостижимое без отлившегося в какую-то форму представления об их общности. Бербер, сталкиваясь с малайцем у ворот Каабы, образно говоря, должен

спросить самого себя: «Почему этот человек делает то же, что и я делаю, произносит те же слова, что и я произношу, хотя мы не можем даже поговорить друг с другом?» И как только возникает такой вопрос, на него существует один-единственный ответ: «Потому что мы... мусульмане». Разумеется, в хореографии великих религиозных паломничеств всегда была некая двойственность: огромные толпы неграмотных людей, говоривших на своих родных языках, обеспечивали плотную, физическую реальность церемониального перехода; и в то же время небольшой сегмент грамотных двуязычных адептов из разных языковых сообществ выполнял объединяющие обряды, истолковывая соответствующим группам приверженцев смысл их коллективного движения[154]. В эпоху до появления книгопечатания реальность воображаемого религиозного сообщества зависела в первую очередь от бесчисленных, непрекращающихся путешествий. Ничто так не впечатляет в западном христианском мире периода его величия, как добровольный поток верующих искателей, стекавшихся со всех концов Европы через знаменитые «региональные центры» монашеского обучения в Рим. Эти великие латиноязычные институты собирали вместе людей, которых мы, возможно, назвали бы сегодня ирландцами, датчанами, португальцами, немцами и т. д., в сообществах, сакральный смысл которых каждодневно выводился из иначе не объяснимого соседства их членов в монастырской трапезной.

Хотя религиозные паломничества — это, вероятно, самые трогательные и грандиозные путешествия воображения, у них были и есть более скромные и ограниченные мирские аналоги[155]. С точки зрения наших целей, наиболее важными среди них были новые переходы, созданные появлением стремящихся к абсолютности монархий, а в конечном счете, мировых имперских государств с центрами в Европе. Внутренний импульс абсолютизма был направлен на создание унифицированного аппарата власти, непосредственно подчиненного правителю и преданного правителю, в противовес децентрализованному, партикуляристскому феодальному дворянству. Унификация предполагала внутреннюю взаимозаменяемость людей и документов. Взаимозаменяемости людей способствовала вербовка (проводимая естественно, в разных масштабах) *homines novi*[156], которые, по этой самой причине, не имели собственной независимой власти, а следовательно, могли служить эманациями воли своих господ[157]. Абсолютистские функционеры совершали, стало быть, путешествия, принципиально отличные от путешествий феодальных дворян[158]. Это различие можно схематично описать следующим образом: В образцовом феодальном путешествии наследник Дворянина А после смерти своего отца поднимается на одну ступень вверх, дабы занять отцовское место. Это восхождение требует поездки туда и обратно: в центр, где его вводят во владение, и обратно, в родовое имение предков. Для нового функционера, однако, все усложняется. Талант, а не смерть, прокладывает его курс. Он видит впереди себя вершину, а не центр. Он взбирается по кручам серией петляющих движений, которые, как он надеется, будут становиться короче и экономнее по мере того, как он будет приближаться к вершине. Посланный в местечко А в ранге V, он может возвратиться в столицу в ранге W, отправиться далее в провинцию В в ранге X, затем в вице-королевство С в ранге Y и завершить свое путешествие в столице в ранге Z. В этом путешествии не гарантируется никаких привалов; каждая пауза что-то да предвещает. Чего функционер желает в самую последнюю очередь, так это возвращения домой; ибо у него нет дома, который бы обладал для него неотъемлемой ценностью. И вот еще что: на своем спирально-восходящем пути он встречает других целеустремленных паломников — своих коллег-функционеров из мест и

семей, о которых он вряд ли вообще когда что-либо слышал и которые он, разумеется, надеется никогда не увидеть. Однако в переживании их как компаньонов-по-путешествию появляется сознание связности («Почему мы... здесь... вместе?»), и прежде всего это происходит тогда, когда все они разделяют единый государственный язык. Но если чиновник А из провинции В управляет провинцией С, а чиновник D из провинции С управляет провинцией В — а такая ситуация при абсолютизме начинает становиться вероятной, — это переживание взаимозаменяемости требует своего собственного объяснения: идеологии абсолютизма, которую разрабатывают как суверен, так и в не меньшей степени сами эти новые люди.

Взаимозаменяемости документов, которая усиливала человеческую взаимозаменяемость, содействовало развитие стандартизированного государственного языка. Как демонстрирует величественная вереница англосаксонского, латинского, норманнского и староанглийского языков, сменявших друг друга с XI до XIV вв. в Лондоне, в принципе любой письменный язык мог выполнять эту функцию — при условии предоставления ему монопольных прав. (Можно, однако, выдвинуть аргумент, что там, где такую монополию довелось завоевать местным языкам, а не латыни, появилась еще одна централизующая функция, ограничивающая дрейф чиновников от одного суверена в аппараты его соперников: гарантирующая, так сказать, что паломники-функционеры из Мадрида не будут взаимозаменяемы с паломниками-функционерами из Парижа).

В принципе, экспансия великих королевств раннесовременной Европы за пределы Европы должна была просто территориально распространить описанную модель на развитие великих трансконтинентальных бюрократий. Но в действительности этого не произошло. Инструментальная рациональность абсолютистского аппарата — и прежде всего, свойственная ему тенденция рекрутировать и продвигать людей по службе на основании их талантов, а не рождения — работала за пределами восточного побережья Атлантики лишь с очень большими сбоями[159].

Американская модель ясна. Например, из 170 вице-королей в испанской Америке до 1813 г. креолами были только четверо. Эти цифры тем более впечатляют, если мы обратим внимание на то, что в 1800 г. в 3,2-миллионном креольском «белом» населении Западной империи (навязанном приблизительно 13,7 млн. туземцев) испанцы, рожденные в Испании, не составляли и 5 %. В Мексике накануне революции был всего один креольский епископ, хотя креольское население этого вице-королевства численно превосходило *peninsulares* в 70 раз[160]. Нет необходимости и говорить, что для креола было неслыханным делом подняться на высокий официальный пост в Испании[161]. Более того, препонами были обставлены не только вертикальные паломничества креольских функционеров. Если полуостровные чиновники могли проделать путь из Сарагосы в Картахену, потом в Мадрид, Лиму и опять в Мадрид, то «мексиканский» или «чилийский» креол, как правило, служил лишь на территориях колониальной Мексики или Чили: горизонтальное движение было для него так же ограничено, как и вертикальное восхождение. Таким образом, конечной вершиной его петляющего восхождения, высшим административным центром, куда его могли назначить на должность, была столица той имперской административной единицы, в которой ему довелось жить[162]. Между тем, в ходе этого тернистого паломничества он сталкивался с компаньонами-по-путешествию, и у них стало складываться ощущение, что их

товарищество базируется не только на особых пространственных границах этого паломничества, но и на общей для них фатальности трансатлантического рождения. Даже если он родился в первую неделю после миграции своего отца, случайность рождения в Америках приговаривала его быть в подчинении у урожденного испанца, пусть даже по языку, религии, происхождению или манерам он почти ничем от него не отличался. И с этим ничего нельзя было поделать: он непоправимо становился креолом. Подумайте только, насколько иррациональным должно было выглядеть его исключение! Тем не менее, в глубине этой иррациональности скрывалась следующая логика: родившись в Америках, он не мог стать настоящим испанцем; ergo[163], родившись в Испании, peninsular не мог стать настоящим американцем[164].

Что заставляло это исключение казаться в метрополии рациональным? Несомненно, слияние освященного временем макиавеллизма с развитием представлений о биологическом и экологическом осквернении, которым начиная с XVI в. сопровождалось всемирное распространение европейцев и европейского владычества. С точки зрения суверена, американские креолы, с их все более растущей численностью и возраставшей с каждым последующим поколением локальной укорененностью, представляли собой исторически уникальную политическую проблему. Впервые метрополиям пришлось иметь дело с огромным — для той эпохи — числом «собратьев-европейцев» (к 1800 г. их в испанских Америках было более 3 млн.) далеко за пределами Европы. Если туземцев можно было покорить оружием и болезнями и удерживать под контролем с помощью таинств христианства и совершенно чуждой им культуры (а также передовой, по тем временам, политической организации), то это никак не касалось креолов, которые были связаны с оружием, болезнями, христианством и европейской культурой практически так же, как и жители метрополий. Иначе говоря, они уже в принципе располагали готовыми политическими, культурными и военными средствами для того, чтобы успешно за себя постоять. Они конституировали одновременно и колониальное сообщество, и высший класс. Их можно было экономически подчинить, их можно было эксплуатировать, но без них была невозможна стабильность империи. В этом свете можно усмотреть некоторую параллель в положении креольских магнатов и феодальных баронов, которое имело решающее значение для могущества суверена, но вместе с тем и таило для него угрозу. Таким образом, peninsulares, назначаемые вице-королями и епископами, выполняли те же самые функции, что и homines novi в протоабсолютистских бюрократиях[165]. Даже если вице-король был всевластным грандом в своем андалусском доме, здесь, в 5 тыс. миль от него, сталкиваясь лицом к лицу с креолами, он был в конечном итоге homo novus, полностью зависимым от своего заокеанского господина. Хрупкое равновесие между полуостровным чиновником и креольским магнатом было, таким образом, выражением старой политики divide et impera[166] в новой обстановке.

Вдобавок к тому, рост креольских сообществ — главным образом в Америках, но также в разных районах Азии и Африки — неизбежно вел к появлению евразиятов, евроафриканцев, а также евроамериканцев, причем не как случайных курьезов, а как вполне зримых социальных групп. Их появление позволило расцвести особому стилю мышления, который стал предвестником современного расизма. Португалия, первая из европейских покорительниц планеты, дает на этот счет подходящую иллюстрацию. В последнем десятилетии XV в. Мануэл I все еще мог «решать» свой «еврейский вопрос» посредством

массового насильного обращения; возможно, это был последний европейский правитель, находивший это решение как удовлетворительным, так и «естественным»[167]. Однако не прошло и ста лет, как появляется Александр Валиньяно, великий реорганизатор иезуитской миссии в Азии (с 1574 по 1606 гг.), страстно возражающий против допущения индийцев и евроиндийцев к принятию священного сана:

“ «Все эти смуглые расы необычайно тупы и порочны, да к тому же еще и подлы... Что касается *mestiços* и *castiços*, то из них нам следует принимать немногих или вообще никого; в особенности это касается *mestiços*, ибо чем больше в них течет туземной крови, тем больше они напоминают индийцев и тем менее они ценны для португальцев»[168].

(И вместе с тем Валиньяно активно содействовал допущению к выполнению священнической функции японцев, корейцев, китайцев и «индокитайцев» — может быть, потому что в этих зонах метисам еще только предстояло во множестве появиться?) Аналогичным образом, португальские францисканцы в Гоа яростно сопротивлялись принятию в орден креолов, заявляя, что «даже рожденные от беспримесно белых родителей, [они] были вскормлены во младенчестве индейскими няньками и тем самым запятнали свою кровь на всю оставшуюся жизнь»[169]. Боксер показывает, что в XVII–XVIII вв. «расовые» барьеры и исключения заметно возросли по сравнению с прежней практикой. В эту пагубную тенденцию внесло свой весомый вклад широкомасштабное возрождение рабства (произошедшее в Европе впервые со времен античности), пионером которого стала в 1510 г. Португалия. Уже в середине XVI в. рабы составляли 10 % населения Лиссабона; к 1800 г. из приблизительно 2,5 млн. жителей португальской Бразилии почти 1 млн. человек были рабами[170].

Кроме того, косвенное влияние на кристаллизацию фатального различия между жителями метрополий и креолами оказало Просвещение. В ходе своего 22-летнего пребывания у власти (1755–1777) просвещенный самодержец Помбал не только изгнал из португальских владений иезуитов, но и постановил считать уголовным преступлением обращение к «цветным» подданным с такими оскорбительными прозвищами, как «ниггер» или «метис» [sic]. Однако в оправдание этого указа он ссылался не на учения *philosophes*, а на древнеримские концепции имперского гражданства[171]. Что еще более типично, широким влиянием пользовались сочинения Руссо и Гердера, в которых доказывалось, что климат и «экология» оказывают основополагающее воздействие на культуру и характер[172]. Отсюда чрезвычайно легко было сделать удобный вульгарный вывод, что креолы, рожденные в дикарском полушарии, отличны по своей природе от жителей метрополии и находятся на низшей, по сравнению с ними, ступени — а стало быть, непригодны для занятия высоких государственных постов[173].

До сих пор наше внимание было сосредоточено на мирах функционеров в Америках — мирах стратегически важных, но все еще небольших. Более того, это были миры, предвосхитившие

своими конфликтами между peninsulares и креолами появление в конце XVIII в. американского национального сознания. Стесненные паломничества наместников не приводили к решающим последствиям до тех пор, пока не появилась возможность вообразить их территориальные протяженности как нации, иными словами, пока не появился печатный капитализм.

Сама печать проникла в Новую Испанию рано, но на протяжении двух столетий оставалась под жестким контролем короны и церкви. К концу XVII в. типографии существовали только в Мехико и Лиме, и их продукция была почти всецело церковной. В протестантской Северной Америке печать вряд ли вообще в тот век существовала. Однако в XVIII в. произошла настоящая революция. В период с 1691 по 1820 гг. издавалось не менее 2120 «газет», из которых 461 просуществовала более десяти лет[174].

В северных Америках с креольским национализмом неразрывно связана фигура Бенджамина Франклина. Однако важность его профессии, возможно, не столь заметна. И в этом вопросе нас, опять-таки, просвещают Февр и Мартен. Они напоминают нам, что «печать в [Северной] Америке в XVIII в. реально получила развитие лишь тогда, когда печатники открыли для себя новый источник дохода — газету»[175]. Открывая новые типографии, печатники всегда включали газету в перечень выпускаемой продукции и обычно были основными или даже единственными ее корреспондентами. Таким образом, печатник-журналист изначально был сугубо североамериканским феноменом. Поскольку главная проблема, с которой приходилось сталкиваться печатнику-журналисту, состояла в том, как добраться до читателей, сложился его союз с почтмейстером, притом настолько близкий, что каждый из них нередко превращался в другого. Таким образом, профессия печатника возникла как своего рода «ключ» к североамериканским коммуникациям и интеллектуальной жизни сообщества. В испанской Америке аналогичные процессы тоже привели во второй половине XVIII в. к появлению первых местных типографий, хотя там этот процесс протекал медленнее и не так гладко[176].

Что было характерно для первых американских газет, северных и южных? Они зарождались по существу как приложения к рынку. Первые газеты содержали — помимо новостей о метрополии — коммерческие новости (когда приходят и уходят корабли, по каким ценам идут в тех или иных портах те или иные товары), а также сообщения о колониальных политических назначениях, бракосочетаниях состоятельных людей и т. д. Иначе говоря, тем, что сводило на одной и той же странице это бракосочетание с тем кораблем, эту цену с тем епископом, была сама структура колониальной администрации и рыночной системы. А стало быть, газета, выходящая в Каракасе, вполне естественно и даже аполитично создавала воображаемое сообщество в кругу специфического собрания читателей, которым эти корабли, невесты, епископы и цены принадлежали. Со временем, разумеется, оставалось лишь ожидать вхождения в него политических элементов.

Одной из плодотворных характеристик таких газет всегда была их провинциальность. Колониальный креол, представься ему такая возможность, мог почитать мадридскую газету (хотя она ничего бы ему не сказала о его мире), но многие полуостровные чиновники, жившие на той же самой улице, зачастую не стали бы, даже имея такую возможность, читать каракасскую печатную продукцию. Асимметрия, до бесконечности воспроизводимая

в других колониальных ситуациях. Другой важной особенностью этих газет была множественность. Испано-американские газеты, получившие развитие к концу XVIII в., сочинялись провинциалами с полным осознанием миров, существовавших параллельно их собственному. Читатели газет из Мехико, Буэнос-Айреса и Боготы, даже если и не читали газет друг друга, вполне сознавали, несмотря на это, их существование. Отсюда широко известная двойственность раннего испано-американского национализма, чередование в нем широкомасштабности с партикуляристским локализмом. Тот факт, что ранние мексиканские националисты писали о себе как о *nosotros los Americanos*[177], а о своей стране как о *nuestra America*[178], толковался как выражение тщеславия местных креолов, которые — в силу того, что Мексика была ценнейшим из американских владений Испании, — считали себя центром Нового Света[179]. Однако на самом деле все в испанской Америке мыслили себя «американцами», ибо этот термин обозначал общую фатальность их внеиспанского рождения[180].

В то же время мы увидели, что сама концепция газеты предполагает преломляющее преобразование даже «мировых событий» в специфический воображаемый мир местноязычных читателей, и увидели, насколько важна для этого воображаемого сообщества идея устойчивой, прочной одновременности во времени. Воображению такой одновременности мешали колоссальная протяженность испано-американской империи и обособленность ее составных частей[181]. Мексиканские креолы могли узнавать о событиях в Буэнос-Айресе с опозданием на несколько месяцев, но узнавали о них из мексиканских газет, а не газет, издававшихся в Рио-де-ла-Плате; и эти события обычно казались «похожими» на события в Мексике, но не казались «частью» этих событий.

В этом смысле «неспособность» испано-американского опыта родить постоянный всеиспано-американский национализм отражает как общий уровень развития капитализма и технологии конца XVIII в., так и «локальную» отсталость испанского капитализма и технологии, связанную с административной протяженностью империи. (Всемирно-историческая эпоха, в которую рождается каждый национализм, вероятно, оказывает значительное влияние на его масштабы. Разве можно отделить индийский национализм от колониальной политики административно-рыночной унификации, проводимой после восстания сипаев самой огромной и передовой из имперских держав?)

Протестантские, англоязычные креолы, жившие к северу, находились в гораздо более выгодном положении, чтобы реализовать идею «Америки», и в конце концов действительно добились успеха в присвоении себе повседневного звания «американцев». Исходные тринадцать колоний занимали территорию, которая была меньше территории Венесуэлы и составляла лишь треть от размера Аргентины[182]. Будучи географически скученными, их рыночные центры, находившиеся в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии, были легкодоступны друг для друга, и их население было сравнительно тесно связано как торговлей, так и печатью. В последующие 183 года «Соединенные Штаты» могли постепенно численно умножаться по мере того, как старое и новое население перемещалось на запад из старого центра на восточном побережье. И все-таки даже в случае США есть элементы сравнительной «неудачи», или съёживания притязаний: неприсоединение англоязычной Канады, десять лет независимого суверенного существования Техаса (1835–1846). Если бы вдруг в XVIII в. в Калифорнии существовало

внушительных размеров англоязычное сообщество, разве не вероятно, что и там возникло бы независимое государство, которое сыграло бы в отношении тринадцати колоний такую же роль, какую сыграла Аргентина в отношении Перу? Даже в США аффективные узы национализма были достаточно эластичными, чтобы в сочетании с быстрой экспансией западного фронта и противоречиями между экономикой Севера и Юга ввергнуть их почти столетие спустя после Декларации независимости в пучину гражданской войны; и эта война сегодня остро напоминает нам о тех войнах, которые оторвали Венесуэлу и Эквадор от Великой Колумбии, а Уругвай и Парагвай — от Объединенных провинций Рио-де-ла-Платы[183].

В качестве предварительного вывода, возможно, будет уместно еще раз подчеркнуть узкие и специфические задачи вышеприведенной аргументации. Она нацелена не столько на объяснение социально-экономических оснований сопротивления, направленного в Западном полушарии против метрополий в период, скажем, с 1760 по 1830 гг., сколько на объяснение того, почему это сопротивление было воспринято во множественных, «национальных» формах — а не в каких-либо других. Экономические интересы, поставленные на карту, хорошо известны и явно имеют основополагающее значение. Либерализм и Просвещение тоже, несомненно, оказали мощное влияние, прежде всего тем, что дали арсенал идеологической критики имперских и *anciens régimes*[184]. Однако, как я предполагаю, ни экономический интерес, ни либерализм, ни Просвещение не могли сами по себе создать и не создавали тот тип, или форму, воображаемого сообщества, который необходимо было защищать от посягательств этих режимов; иначе говоря, ничто из них не создавало общую рамку нового сознания — т. е. едва заметную периферию его поля зрения, — в отличие от попадавших в центр этого поля объектов восхищения или отвращения[185]. Решающую историческую роль в осуществлении этой особой задачи сыграли креольские паломники-функционеры и провинциальные креольские печатники.

5. Старые языки, новые модели

Закат эры успешных национально-освободительных движений в обеих Америках довольно точно совпал с началом эпохи национализма в Европе. Если рассмотреть характер этих новых национализмов, изменивших за период с 1820 по 1920 гг. облик Старого Света, то от прежних национализмов их отличают две поразительные особенности. Во-первых, почти во всех них центральное идеологическое и политическое значение имели «национальные печатные языки», в то время как в революционных Америках английский и испанский языки никогда не составляли проблемы. Во-вторых, все они могли работать, опираясь на зримые модели, предоставленные их далекими, а после конвульсий Французской революции и не столь далекими провозвестниками. Таким образом, «нация» стала чем-то таким, к чему можно было издавна сознательно стремиться, а не просто видением, очертания которого постепенно становились отчетливыми. И в самом деле, как мы увидим, «нация» оказалась изобретением, на которое невозможно было заполучить патент. Она стала доступным предметом для пиратства, попадавшим в очень разные, иной раз самые неожиданные руки. Итак, в этой главе мы аналитически сосредоточим наше внимание на печатном языке и пиратстве.

Блаженно игнорируя некоторые очевидные внеевропейские факты, великий Иоганн Готфрид фон Гердер (1744–1803) под конец XVIII в. провозгласил, что «denn jedes Volk ist Volk; es hat seine National Bildung wie seine Sprache»[186][187]. Это надменно узкоевропейское представление о национальности, соединенной с ее собственным языком, оказало широкое влияние на Европу XIX в. и, в более узком смысле, на все последующее теоретизирование о природе национализма. Каковы были истоки этой грезы? Скорее всего, их следует искать в том существенном сжатии европейского мира во времени и пространстве, которое началось уже в XIV в. и было вызвано сначала раскопками гуманистов, а позднее, что довольно парадоксально, всемирной экспансией Европы.

Замечательно говорит об этом Ауэрбах:

“ «Когда занялась заря гуманизма, люди начали понимать, что события, о которых повествуют древние сказания и древняя история, в том числе и история библейская, не только отделены от нас временем, но и совершенно другими жизненными условиями. Гуманизм, осуществляя свою программу обновления античных форм жизни и искусства, прежде всего вырабатывает

исторический подход к прошлому, перспективу, которой не обладала в такой степени ни одна из предшествующих эпох: гуманизм видит античность в глубине истории и, в резком контрасте с ней, мрачные времена отделяющего ее от нас Средневековья... [Благодаря этому стало невозможно] восстановить естественную для античной культуры автаркию жизни или историческую наивность XII и XIII вв.»[188].

Становление того, что можно было бы назвать «сравнительной историей», со временем привело к появлению неслыханного доселе понятия «современности», открыто противопоставляемой «древности», причем совсем не обязательно в пользу последней. Эта проблема проявилась со всей остротой в «споре древних и новых»[189], определившем интеллектуальную жизнь Франции в последнюю четверть XVII в.[190] Приведем еще одну выдержку из Ауэрбаха: «...при Людовике XIV у французов хватало мужества считать свою собственную культуру образцовой, — наряду с культурой античной, — и они навязали это мнение всей Европе»[191].

На протяжении XVI столетия «открытие» Европой великих цивилизаций, известных до той поры лишь по смутным слухам (в Китае, Японии, Юго-Восточной Азии и на Индийском субконтиненте) или даже вовсе неизвестных (ацтекской Мексики и инкской Перу), внушало идею о неисчерпаемом человеческом многообразии. Большинство этих цивилизаций развивались совершенно независимо от известной истории Европы, христианского мира, античности и, по сути дела, человека: их генеалогии лежали в стороне от Рая и не вписывались в него. (Лишь гомогенное, пустое время могло стать их вместилищем.) О влиянии этих «открытий» можно получить представление по своеобразным географиям воображаемых государств той эпохи. «Утопия» Мора, появившаяся в 1516 г., преподносилась как рассказ одного моряка, принимавшего участие в экспедиции Америго Веспуччи в Америки 1497–1498 гг., которого автору якобы довелось встретить в Антверпене. Новизна Новой Атлантиды Фрэнсиса Бэкона (1626), возможно, состояла главным образом в том, что он расположил ее в Тихом океане. Великолепный остров Гуигнгнм Свифта (1726) появился вместе с фиктивной картой его местоположения в Южной Атлантике. (Смысл этих расположений, возможно, станет еще более ясным, если учесть, насколько немислимо было бы поместить на какую-либо карту, поддельную или настоящую, платоновскую Республику.) Все эти лукавые утопии, «смоделированные» по образцу реальных открытий, изображаются не как потерянный Рай, а как тогдашние современные общества. Можно утверждать, что таковыми они и должны были быть, поскольку сочинялись как критики тогдашних обществ, а названные открытия положили конец необходимости искать модели в давно минувшей древности[192]. Вслед за утопистами пришли светила Просвещения, Вико, Монтескье, Вольтер и Руссо, которые все больше и больше эксплуатировали «реальную» не-Европу как огневое прикрытие своих подрывных сочинений, направленных против тогдашних европейских социальных и политических институтов. В результате, появилась возможность мыслить Европу как всего лишь одну из множества цивилизаций, причем не обязательно Избранную или лучшую[193].

Кроме того, открытия и завоевания вызвали со временем революцию в европейских представлениях о языке. Из практических соображений — ради навигации, религиозного обращения, коммерции и войн — португальские, голландские и испанские мореходы,

миссионеры, купцы и солдаты с самого начала приступили к сбору словников неевропейских языков, из которых стали складываться простейшие словари. Однако лишь во второй половине XVIII в. реально началось научное сравнительное изучение языков. Результатом английского завоевания Бенгалии стали новаторские исследования санскрита Уильямом Джонсом (1786), которые вели ко все большему осознанию того, что Индская цивилизация гораздо древнее греческой или иудейской. Результатом египетского похода Наполеона стала расшифровка египетских иероглифов Жаном Шампольоном (1835), умножившая эту внеевропейскую древность[194]. Достижения семитологии подорвали представление о том, что древнееврейский язык имел уникальную древность или божественное происхождение. Опять-таки, раскрываемые генеалогии могли быть помещены только в гомогенном, пустом времени. «Язык стал не столько связующей нитью между внешней силой и говорящим человеком, сколько внутренней областью, творимой и реализуемой пользователями языка в их общении между собой»[195]. Из этих открытий родилась филология с ее исследованиями сравнительной грамматики, классификацией языков на семьи и реконструкцией забытых «праязыков» посредством научного рассуждения. Как справедливо замечает Хобсбаум, это была «первая наука, которая считала эволюцию самой своей сердцевиной»[196].

С этого момента старые священные языки — латинский, греческий и древнееврейский — были вынуждены ютиться на общем онтологическом фундаменте с разношерстной плебейской толпой местных наречий, которые с ними соперничали, и это изменение дополнило прежнее падение их статуса на рынке, вызванное печатным капитализмом. Поскольку все языки разделяли теперь общий (внутри-)мирской статус, все они стали, в принципе, одинаково достойными изучения и восхищения. Но для кого? Если рассуждать логически, то — поскольку ни один из них не принадлежал теперь Богу — для их новых владельцев: коренных населений, говорящих на каждом из этих языков и, вдобавок к тому, читающих на нем.

Как весьма кстати показывает Сетон-Уотсон, XIX столетие в Европе и ее ближайших перифериях было золотым веком вернакуляризирующих лексикографов, грамматиков, филологов и литераторов[197]. Энергичная работа этих профессиональных интеллектуалов сыграла главную роль в формировании европейских национализмов XIX в., что находится в абсолютном контрасте с ситуацией в Америках в 1770–1830 гг. Одноязычные словари были огромными компендиумами печатной сокровищницы каждого языка, переносимыми (хотя иной раз не без труда) из магазина в школу, из офиса в дом. Двухязычные словари сделали зримым надвигающееся равенство языков: каковы бы ни были внешние политические реалии, под обложкой чешско-немецкого/немецко-чешского словаря спаренные языки имели общий статус. Одержимые подвижники, посвящавшие многие годы своей жизни их составлению, с необходимостью стягивались в крупные библиотеки Европы, прежде всего университетские, или вскармливались ими. А значительную часть их непосредственной клиентуры с не меньшей неизбежностью составляли студенты университетов и те, кто собиравшись в них поступить. Сказанное Хобсбаумом о том, что «прогресс школ и университетов является мерилем прогресса национализма, равно как именно учебные заведения, особенно университеты, стали наиболее сознательными его защитниками», для Европы XIX в., если уж не для других времен и мест, определенно является верным[198].

Стало быть, можно проследить эту лексикографическую революцию так, как можно бы было проследить нарастающий грохот в горящем арсенале, когда каждый маленький взрыв воспламеняет другие, пока, наконец, финальная вспышка не превращает ночь в день.

К середине XVIII в. колоссальное усердие немецких, французских и английских ученых мужей не только сделало доступным в портативной печатной форме практически весь существующий корпус греческой классики, снабженный необходимыми филологическими и лексикографическими приложениями, но и воссоздавало в десятках книг блистательную — и безусловно языческую — древнюю эллинскую цивилизацию. В последней четверти столетия это «прошлое» становилось все более доступно узкому кругу молодых христианских интеллектуалов, говорящих по-гречески, большинство из которых учились или путешествовали за пределами Оттоманской империи[199]. Воодушевленные филэллинизмом, расцветшим в центрах западноевропейской цивилизации, они предприняли попытку «деварваризировать» современных греков, т. е. превратить их в народ, достойный Перикла и Сократа[200]. Для этого изменения в сознании символичны следующие слова, произнесенные в 1803 г. в Париже одним из этих молодых людей, Адамандиосом Кораисом (ставшим впоследствии страстным лексикографом!), в речи, обращенной к французской аудитории:

“ «Впервые в истории нация обзирает отвратительное зрелище собственного невежества и впадает в трепет, отмеряя глазом расстояние, отделяющее ее от славы ее предков. Однако это мучительное открытие не повергает греков в пучину отчаяния: Мы — потомки греков, — мысленно сказали они себе, — и либо мы должны попытаться вновь стать достойными этого имени, либо мы не вправе его носить»[201].

Аналогичным образом, в конце XVIII в. появились учебники грамматики, словари и истории румынского языка. Их появление сочеталось со стремлением — достигшим успеха сначала в Габсбургских государствах, а позднее в Оттоманской империи — заменить кириллицу латинским алфавитом (резко отграничивающим румынский язык от его славянско-православных соседей)[202]. В 1789–1794 гг. Российская академия наук, созданная по образцу Académie Française, выпустила 6-томный словарь русского языка, вслед за которым в 1802 г. вышел официальный учебник грамматики. Оба издания представляли собой победу разговорного языка над церковнославянским. Хотя еще в XVIII столетии чешский язык был всего лишь языком богемского крестьянства (дворянство и набравшие силу средние классы говорили по-немецки), католический священник Йосеф Добровский (1753–1829) в 1792 г. выпустил в свет свою «Geschichte der böhmischen Sprache und altern Literatur»[203], первую систематическую историю чешского языка и литературы. В 1835–1839 гг. появился новаторский пятитомный чешско-немецкий словарь Йосефа Юнгмана[204].

О рождении венгерского национализма Игнотус пишет, что это событие «следует датировать достаточно недавним временем: 1772 годом, когда был опубликован ряд нечитабельных трудов многогранного венгерского автора Дьёрдя Бешшенъеи, жившего в то время в Вене и служившего в охране Марии Терезии... Magna opera Бешшенъеи имели целью доказать, что венгерский язык подходит для самого высокого литературного жанра»[205].

Дальнейший стимул был дан широкими публикациями сочинений Ференца Казинци (1759–1831), «отца венгерской литературы», а также переносом в 1784 г. из маленького провинциального городка Трнава в Будапешт университета, ставшего после этого Будапештским. Первым политическим проявлением венгерского национализма стала в 80-е годы XVIII в. враждебная реакция латиноязычной мадьярской знати на решение императора Иосифа II заменить латинский язык немецким в качестве основного языка имперской администрации[206].

В период с 1800 по 1850 гг. на Северных Балканах сформировались в результате новаторской работы местных ученых три отдельных литературных языка: словенский, сербохорватский и болгарский. Если в 30-е годы XIX в. было принято считать, что «болгары» относятся к той же нации, что и сербы с хорватами, и болгары фактически участвовали вместе с ними в Иллирийском движении, то к 1878 г. уже было все готово для образования отдельного болгарского национального государства. В XVIII в. украинский (малороссийский) язык встречал презрительно-терпимое отношение как язык деревенщин. Однако в 1798 г. Иван Котляревский написал свою «Энеиду», необычайно популярную сатирическую поэму об украинской жизни. В 1804 г. был основан Харьковский университет, который быстро превратился в центр бурного развития украинской словесности. В 1819 г. увидела свет первая украинская грамматика — всего через 17 лет после официальной русской. А в 30-е годы XIX в. последовали сочинения Тараса Шевченко, о котором Сетон-Уотсон пишет, что «формирование общепринятого украинского литературного языка было обязано ему больше, чем кому бы то ни было. Употребление этого языка стало решающей ступенью в формировании украинского национального сознания»[207]. Вскоре после этого, в 1846 г., в Киеве была основана первая украинская националистическая организация — причем основана историком!

В XVIII в. государственным языком в сегодняшней Финляндии был шведский. После присоединения этой территории в 1809 г. к Российской империи официальным языком в ней стал русский. Однако «проснувшийся» интерес к финскому языку и финскому прошлому, который первоначально выражался в текстах, писавшихся в конце XVIII в. на латинском и шведском языках, стал к 20-м годам XIX в. все более выражаться на родном языке[208]. Лидерами зарождавшегося финского националистического движения были «люди, чья профессия включала главным образом работу с языком: писатели, учителя, пасторы и юристы. Изучение фольклора, новое открытие и собирание народной эпической поэзии сочетались с публикацией учебников грамматики и словарей. Все это привело в конечном итоге к появлению периодических изданий, которые стандартизировали финский литературный [т. е. печатный] язык, от имени которого теперь можно было предъявлять более жесткие политические требования»[209]. В случае Норвегии, долгое время разделявшей общий письменный язык с датчанами при совершенно разном произношении, национализм зародился вместе с новой норвежской грамматикой (1848) и словарем норвежского языка (1850) Ивара Осена — текстами, которые были ответом на потребность в специфически норвежском печатном языке и сами стимулировали эту потребность.

Обращаясь к другим территориям второй половины XIX в., мы находим африканерский национализм, рожденный бургскими пасторами и литераторами, которые в 70-е годы успешно превратили местный голландский говор в литературный язык и назвали его уже не

европейским именем. Марониты и копты, многие из которых были выпестованы Американским колледжем в Бейруте (основанным в 1866 г.) и Иезуитским колледжем Св. Иосифа (основанным в 1875 г.), внесли важнейший вклад в возрождение классического арабского языка и распространение арабского национализма[210]. А истоки турецкого национализма легко различимы в появлении в 70-е годы XIX в. в Стамбуле прессы на живом родном языке[211].

Не следует забывать и о том, что эта эпоха стала свидетельницей вернакуляризации еще одной формы печатной страницы: нотной страницы. Вслед за Добровским пришли Сметана, Дворжак и Яначек; вслед за Осеном — Григ; вслед за Казинци — Бела Барток; и так далее, вплоть до нашего столетия.

В то же время самоочевидно, что все эти лексикографы, филологи, грамматики, фольклористы, публицисты и композиторы осуществляли свою революционную деятельность не в вакууме. В конце концов, они были производителями, работавшими на печатный рынок, и были связаны через этот безмолвный базар с потребительскими публиками. Кто были эти потребители? В самом общем смысле: семьи читающих классов — не только «работающий отец», но также его жена-домохозяйка и дети школьного возраста. Если учесть, что еще в 1840 г. даже в Британии и Франции, самых передовых государствах Европы, неграмотной была почти половина населения (а в отсталой России — почти 98 %), то под «читающими классами» имеются в виду люди, облеченные определенной властью. Говоря конкретно, это были — вдобавок к старым правящим классам (дворянству и земельным аристократиям, придворной и церковной знати) — зарождающиеся средние слои плебейских низовых чиновников, профессионалов, а также торговая и промышленная буржуазия.

Европа середины XIX в. стала свидетельницей быстрого роста государственных расходов и роста государственных бюрократий (гражданских и военных), которые происходили несмотря на отсутствие каких-либо крупных локальных войн. «За период с 1830 по 1850 гг. государственные расходы на душу населения выросли в Испании на 25 %, во Франции — на 40 %, в России — на 44 %, в Бельгии — на 50 %, в Австрии — на 70 %, в США — на 75 % и в Нидерландах — более чем на 90 %»[212]. Бюрократическая экспансия, предполагавшая также и бюрократическую специализацию, открывала возможность продвижения по службе гораздо большему числу людей и с гораздо более пестрым социальным происхождением, нежели раньше. Взять хотя бы ветхую, полную синекур и находившуюся под контролем дворянства австро-венгерскую государственную машину: доля лиц из среднего класса в верхних эшелонах ее гражданской половины выросла с 0 % в 1804 г. до 27 % в 1829 г., 35 % в 1859 г. и 55 % в 1878 г. В армейских должностях проявлялась та же тенденция, хотя там она характеризовалась более медленным темпом и некоторым запозданием: с 1859 по 1918 гг. доля лиц среднего класса в офицерском корпусе выросла с 10 % до 75 %[213].

Если экспансия бюрократических средних классов была процессом относительно равномерным, протекавшим с примерно одинаковой скоростью как в развитых, так и в отсталых государствах Европы, то рост торговых и промышленных буржуазий был, разумеется, крайне неравномерен: где-то он происходил массивно и быстро, где-то — медленно и вяло. Но где бы этот «рост» ни происходил, его следует понимать во

взаимосвязи с родноязыковым печатным капитализмом.

Добуржуазные правящие классы добивались сплоченности, в некотором смысле, вне языка, или, по крайней мере, вне печатного языка. Если правитель Сиам принимал в качестве конкубины малайскую аристократку или король Англии женился на испанской принцессе — говорили ли они вообще когда-нибудь друг с другом всерьез? Солидарности были продуктами родства, отношений зависимости и личных преданностей. «Французские» дворяне могли помогать «английским» королям бороться с «французскими» монархами, и делали это не исходя из общего языка или культуры, а, если отбросить в сторону макиавеллианские расчеты, исходя из общих родственных и дружеских связей. Относительно небольшой размер традиционных аристократий, их фиксированные политические основания и персонализация политических отношений, предполагаемые сексуальной связью или наследованием, означали, что их сплоченности в качестве классов были столь же конкретными, сколь и воображаемыми. Неграмотная аристократия все же могла действовать как аристократия. А буржуазия? В этом случае имел место класс, который, образно говоря, обрел существование как класс лишь в многочисленных репликациях. Владелец завода в Лилле был связан с владельцем завода в Лионе только реверберацией. У них не было необходимости знать о существовании друг друга; они обычно не заключали браков с дочерьми друг друга и не наследовали собственность друг друга. Однако они сумели представить себе существование тысяч и тысяч им подобных через посредство печатного языка. Ведь бесписьменную буржуазию вряд ли возможно даже представить. Таким образом, со всемирно-исторической точки зрения, буржуазии были первыми классами, достигшими солидарностей на воображенной, по сути, основе. Но в Европе XIX столетия, где латынь уже два века как была повержена родноязыковым печатным капитализмом, эти солидарности имели территориальные границы, определяемые границами читаемости соответствующих родных языков. Если сформулировать это иначе, спать можно с кем угодно, но читать можно только слова какого-то народа.

Дворянства, земельные аристократии, профессионалы, чиновники и люди рынка — вот, следовательно, и были потенциальные потребители филологической революции. Но такая клиентура почти нигде не осуществилась полностью, а комбинации действительных потребителей значительно менялись от зоны к зоне. Чтобы увидеть, почему дело обстояло так, необходимо вернуться к базисному различию, проведенному ранее между Европой и Америками. В Америке существовал почти совершенный изоморфизм между протяженностями различных империй и областями распространения их родных языков. В Европе же такие совпадения были редкими, и внутриевропейские династические империи были фундаментально многоязычными. Иначе говоря, власть и печатный капитализм очерчивали территориально разные области.

Общий рост грамотности, торговли, промышленности, коммуникаций и государственных машинерий, наложивший особый отпечаток на XIX столетие, дал новые могущественные импульсы родноязычной лингвистической унификации в каждом династическом государстве. В Австро-Венгрии латынь продержалась в качестве государственного языка до начала 40-х годов XIX в., но после этого почти мгновенно исчезла. Она могла бы быть государственным языком, но в XIX в. она не могла стать языком бизнеса, наук, прессы или литературы, особенно в мире, где эти языки постоянно взаимопроникают.

Тем временем местные государственные языки — в процессе, который, по крайней мере вначале, был в основном незапланированным, — приобретали все большую власть и все более высокий статус. Так, английский язык вытеснил из большей части Ирландии гэльский, французский припер к стенке бретонский, а кастильский оттеснил на обочину каталанский. В таких государствах, как Британия и Франция, где к середине века по сугубо внешним причинам сложилось относительно высокое соответствие языка государства и языка населения[214], общее взаимопроникновение, на которое указывалось выше, не имело драматических политических последствий. (Эти случаи ближе всего к американским.) Во многих других государствах, крайним случаем которых является, вероятно, Австро-Венгрия, эти последствия неизбежно имели взрывной характер. В ее колоссальных, полуразвалившихся, многоязычных, но все более грамотных владениях замена латыни любым местным языком в середине XIX в. сулила необычайные преимущества тем из ее подданных, которые уже пользовались этим печатным языком, и, соответственно, несла угрозу тем, кто им не пользовался. Я особенно подчеркиваю слово любым, ибо, как мы увидим из дальнейшего подробного обсуждения, возвышение немецкого языка в XIX в. двором Габсбургов (немецким, как кое-кто мог бы подумать) не имело вообще ничего общего с немецким национализмом. (При таких обстоятельствах в каждом династическом государстве следовало ожидать подъема сознательного национализма среди коренных читателей официального родного языка в самую последнюю очередь. И эти ожидания подтверждаются историческими документами.)

Учитывая клиентуры наших лексикографов, нет ничего удивительного в том, что мы находим очень разные совокупности потребителей соответственно разным политическим условиям. Например, в Венгрии, где фактически не существовало никакой мадьярской буржуазии, но каждый восьмой претендовал на тот или иной аристократический статус, брустверы печатного венгерского языка оборонялись от немецкой волны сегментами мелкого дворянства и разорившейся земельной аристократией[215]. Почти то же самое можно сказать о польских читателях. Более типичной была, однако, коалиция мелкопоместного дворянства, академиков, профессионалов и бизнесменов, в которой первые часто поставляли «высокопоставленных» лидеров, вторые и третьи — мифы, поэзию, газеты и идеологические формулы, а последние — деньги и рыночные средства. Любезный Кораис дает нам прекрасный литературный портрет ранней клиентуры греческого национализма, в которой преобладали интеллектуалы и предприниматели:

“ «В этих городках, не столь бедных, где были состоятельные жители и кое-какие школы, а, следовательно, какое-то число людей, которые могли по крайней мере читать и понимать древних писателей, революция началась раньше и могла протекать быстрее и спокойнее. В некоторых этих городках школы уже расширяются, в них вводится изучение иностранных языков и даже тех наук, которые преподаются в Европе [sic]. Богатые дают деньги на издание книг, переводимых с итальянского, французского, немецкого и английского языков; они за свой счет посылают страстно желающих учиться молодых людей в Европу; они дают своим детям, не исключая девочек, лучшее образование...»[216]

Читательские коалиции, в зависимости от состава расположенные между венгерским и греческим, развивались аналогичным образом во всей Центральной и Восточной Европе, а также стали складываться в течение столетия на Ближнем Востоке[217]. Участие в воображенных по родному языку сообществах городских и сельских масс, естественно, тоже в значительной степени варьировало. Многие зависело от отношений между этими массами и миссионерами национализма. В качестве одной крайности можно, вероятно, привести пример Ирландии, где католическое духовенство происходило из крестьянства и, находясь в тесной близости к нему, играло жизненно важную посредническую роль. Другая крайность подразумевается в ироничном замечании Хобсбаума: «В 1846 г. крестьяне Галиции выступили против польских революционеров, хотя те фактически провозгласили отмену крепостничества, предпочтя вместо этого массовое убийство дворян и доверие к чиновникам Императора»[218]. Однако практически везде по мере возрастания грамотности становилось проще будить народную поддержку, ибо массы открывали для себя новую славу в печатном превознесении языков, на которых они прежде всегда, не замечая того, говорили.

А стало быть, верна захватывающая формулировка Нейрна: «Новая националистическая интеллигенция среднего класса должна была пригласить массы в историю; и это приглашение должно было быть написано на языке, который они понимали»[219]. Однако трудно будет понять, почему это приглашение показалось столь привлекательным и почему его могли послать столь разные группы (интеллигенция среднего класса Нейрна ни в коем случае не была единственным хозяином торжества), если не обратиться, наконец, к пиратству.

Хобсбаум замечает, что «Французская революция была совершена и возглавлена не сложившейся партией или движением, в современном смысле слова, и не людьми, пытавшимися осуществить какую-то систематическую программу. До появления послереволюционной фигуры Наполеона она вряд ли даже выдвинула из своей среды „вождей“ такого рода, к которым нас приучили революции XX в.»[220]. Но как только она произошла, она сразу же вошла в аккумуляющую память печати. Захватывающая и ошеломляющая последовательность событий, пережитых ее творцами и жертвами, стала «вещью» — и получила свое собственное имя: Французская революция. Подобно огромной бесформенной скале, превращаемой бесчисленными каплями воды в обтекаемую глыбу, этот опыт был оформлен миллионами печатных слов в «понятие», фигурирующее на печатной странице, а с течением времени и в модель. Почему «она» разразилась, на что «она» была нацелена, почему «она» достигла успеха или потерпела поражение, — все это стало предметом нескончаемой полемики между ее друзьями и недругами: но в ее, так сказать, «оности» после уже никто никогда всерьез не сомневался[221].

Почти таким же образом движения за независимость в Америках, как только о них было напечатано, стали «понятиями», «моделями» и настоящими «проектами». В «реальности» хаотически сталкивались боливаровский страх перед негритянскими восстаниями и сан-мартиновский призыв к собственным туземцам стать перуанцами. Но напечатанные слова стерли страх почти сразу, так что если о нем когда-то и вспоминали, то он представлял как не имеющая значения аномалия. Из американской неразберихи родились эти воображенные реальности: национальные государства, республиканские институты, общие гражданства,

суверенитет народа, национальные флаги и гимны и т. д., — вместе с ликвидацией их понятийных противоположностей: династических империй, монархических институтов, абсолютизмов, подданств, наследственных дворянств, крепостничеств, гетто и т. д. (Ничто так не поражает в этом контексте, как полное «вычеркивание» массового рабства из «образцовых» США XIX в., а также общего языка из «образцовых» южных республик.) К тому же, обоснованность и обобщаемость этого проекта неоспоримо подтверждались множественностью независимых государств.

В результате, ко второму десятилетию XIX в., если не раньше, «модель» «независимого национального государства» стала доступна для пиратства[222]. (И первыми группами, совершившими такое пиратство, были те самые маргинализованные коалиции образованных, сложившиеся на базе родного языка, на которых было сосредоточено внимание в этой главе.) Однако в силу своей известности к тому времени эта модель предъявляла определенные «стандарты», слишком заметные отклонения от которых были непозволительны. Даже отсталое и реакционное венгерское и польское мелкопоместное дворянство с трудом, но придерживались ее, чтобы не создать видимость «приглашения к себе» (разве только в буфет) своих угнетенных соотечественников. Если хотите, тут действовала логика сан-мартиновской перуанизации. Если «венгры» заслуживали национального государства, то это означало: все венгры без исключения[223]. Этим подразумевалось такое государство, где конечным средоточием суверенитета должно было стать сообщество говорящих и читающих по-венгерски; далее, в свой черед, должны были последовать ликвидация крепостничества, развитие народного образования, экспансия избирательного права и т. д. Таким образом, «популистский» характер ранних европейских национализмов, даже если их демагогически возглавляли самые отсталые социальные группы, был глубже, чем в Америке: крепостничество должно было уйти, легальное рабство было невообразимо — и не в последнюю очередь потому, что концептуальная модель укоренилась окончательно.

6. Официальный национализм и империализм

На протяжении XIX столетия, и особенно во второй его половине, филолого-лексикографическая революция и подъем националистических движений внутри Европы, которые сами по себе были продуктами не только капитализма, но и «слоновая болезнь» династических государств, создавали для династических монархов все больше культурных, а, следовательно, и политических затруднений. Ибо, как мы уже увидели, фундаментальная легитимность большинства этих династий была совершенно не связана с национальностью. Романовы правили татарами и латышами, немцами и армянами, русскими и финнами. Габсбурги возвышались над мадьярами и хорватами, словаками и итальянцами, украинцами и южными немцами. Ганноверы управляли бенгальцами и квебекцами, а также шотландцами и ирландцами, англичанами и валлийцами[224]. Вдобавок к тому, на континенте члены одних и тех же династических семей часто правили в разных, подчас даже враждующих, государствах. Какую национальность приписать Бурбонам, правившим во Франции и Испании, Гогенцоллернам, правившим в Пруссии и Румынии, Виттельсбахам, правившим в Баварии и Греции?

Также мы увидели, что для решения собственно административных задач эти династии с разной скоростью закрепляли за некоторыми печатными языками статус государственных: «выбор» языка в основном определялся неосознаваемым наследованием или соображениями удобства.

Между тем, лексикографическая революция в Европе создавала и постепенно распространяла убеждение в том, что языки (по крайней мере, в Европе) являются, так сказать, личной собственностью вполне конкретных групп — а именно, говорящих и читающих на них в обыденной жизни, — и, более того, что эти группы, представляемые в воображении как сообщества, уполномочены занимать свое автономное место в братстве равных. Таким образом, филологические подстрекатели поставили династических монархов перед неприятной дилеммой, которая со временем только обострилась. Нигде эта дилемма не проявляется так явно, как в случае Австро-Венгрии. Когда в начале 80-х годов XVIII в. просвещенный абсолютист Иосиф II принял решение поменять государственный язык с латинского на немецкий, «он не боролся, например, с мадьярским языком, он боролся с латынью... Он считал, что на основе средневекового латиноязычного дворянского управления невозможно осуществить никаких эффективных действий в интересах масс. Потребность в объединяющем языке, который связал бы воедино все части его империи,

казалась ему не терпящей никаких отлагательств. Учитывая такую потребность, он не мог выбрать никакой другой язык, кроме немецкого — единственного языка, в распоряжении которого была обширная культура и литература и значительное меньшинство во всех провинциях его империи»[225]. В действительности, «Габсбурги не проводили сознательной и последовательной германизации... Некоторые из Габсбургов даже не говорили по-немецки. Даже те из императоров Габсбургской династии, которые иногда поощряли политику германизации, вовсе не руководствовались в своих устремлениях националистической точкой зрения; их меры диктовались намерением достичь единства и универсальности их империи»[226]. Их основной целью было *Hausmacht*. Однако после середины XIX в. немецкий язык стал все отчетливее приобретать двойственный статус: «универсально-имперский» и «партикулярно-национальный». Чем больше династия насаждала немецкий язык в качестве первого по важности, тем более он выделялся соединенным с ее подданными, говорящими на немецком языке, и тем более вызывал антипатию среди остальных. Между тем, если бы она не оказывала такого давления, т. е. фактически пошла бы на уступки другим языкам, прежде всего венгерскому, то это не только задержало бы унификацию империи, но, кроме того, дало бы повод немецкоязычным подданным почувствовать себя оскорбленными. Таким образом, над династией одновременно висела угроза ненависти и за то, что она защищает немцев, и за то, что она их предает. (Так же во многом говорящие по-турецки возненавидели Оттоманов как отступников, а не говорящие по-турецки — как туркизаторов.)

Поскольку к середине века все династические монархи использовали какой-нибудь бытующий на их территории язык как государственный[227], а также в силу быстро растущего по всей Европе престижа национальной идеи, в евро-средиземноморских монархиях наметилась отчетливая тенденция постепенно склоняться к манящей национальной идентификации. Романовы открыли, что они великороссы, Ганноверы — что они англичане, Гогенцоллерны — что они немцы, а их кузены с несколько большими затруднениями превращались в румын, греков и т. д. С одной стороны, эти новые идентификации укрепляли легитимности, которые в эпоху капитализма, скептицизма и науки все менее и менее могли опираться на мнимую священность и одну только древность. С другой стороны, они создавали новые опасности. Когда кайзер Вильгельм II назвал себя «немцем номер один», он неявно признал тем самым, что является одним из многих ему подобных, выполняет представительскую функцию, а, следовательно, может быть в принципе изменником своих собратьев-немцев (в пору расцвета династии это было нечто немыслимое: кому и чему он мог тогда изменить?). После катастрофы, постигшей Германию в 1918 г., его поймали на этом предполагаемом слове. Действуя от имени немецкой нации, гражданские политики (публично) и Генеральный штаб (с обычной для него смелостью, тайно) выслали ему из Отечества в малоизвестный голландский пригород перевязочный материал. Так и Мохаммед Реза Пехлеви, назвав себя не просто шахом, а шахом Ирана, в конце концов был заклеен как предатель. То, что он и сам принял пусть даже не вердикт, а, так сказать, правомочность национального суда, видно из небольшой комедии, разыгравшейся в момент его отправления в изгнание. Прежде чем взобраться на трап самолета, он поцеловал землю перед фотообъективами и объявил, что забирает небольшую горсть священной иранской земли с собой. Этот эпизод украден из фильма о Гарибальди, а не о Короле-Солнце[228].

«Натурализация» династий Европы — маневры, не обошедшиеся во многих случаях без отвлекающих акробатических трюков, — постепенно привели к возникновению того, что Сетон-Уотсон язвительно называет «официальными национализмами»[229], в числе которых царистская русификация является лишь самым известным примером. Эти «официальные национализмы» лучше всего понятны как средство совмещения натурализации с удержанием династической власти — в частности, над огромными многоязычными владениями, накопившимися со времен Средневековья, — или, иначе говоря, как средство натягивания маленькой, тесной кожи нации на гигантское тело империи. «Русификация» разнородного населения царских владений представляла собой, таким образом, насильственное, сознательное сваривание двух противоположных политических порядков, один из которых был древним, а другой — совершенно новым. (Хотя здесь и просматривается определенная аналогия, скажем, с испанизацией Америк и Филиппин, остается одно основное отличие. Если культурные конкистадоры Российского Царства конца XIX в. руководствовались сознательным макиавеллианским расчетом, то их испанские предшественники из XVI в. действовали исходя из неосознанного повседневного прагматизма. К тому же, для них это была, на самом-то деле, никакая не «испанизация»; скорее, это было просто обращение язычников и дикарей в христианство.)

Ключом к определению места «официального национализма» — волевого соединения нации с династической империей — будет напоминание о том, что он появился после массовых национальных движений, которые с 20-х годов XIX в. множились в Европе, и в ответ на них. Если эти национализмы были смоделированы по образцам, взятым из американской и французской истории, то теперь они, в свою очередь, сами стали образцами[230]. Требовалась лишь изобретательная ловкость рук, чтобы дать империи возможность явить свою привлекательность в национальном наряде.

Чтобы окинуть взглядом весь этот процесс реакционного вторичного моделирования, полезно рассмотреть несколько параллельных случаев, дающих поучительные контрасты.

Насколько неловко чувствовало себя поначалу, «выходя на улицы», романовское самодержавие, отлично показал Сетон-Уотсон[231]. Как ранее уже говорилось, придворным языком Санкт-Петербурга в XVIII в. был французский, а языком значительной части провинциального дворянства — немецкий. После нашествия Наполеона граф Сергей Уваров в докладной записке 1832 г. предложил, чтобы государство держалось на трех основных принципах: Самодержавии, Православии и Народности (национальности)[232]. Если первые два принципа были старые, то третий был совершенно новым — и несколько преждевременным для эпохи, когда половину «нации» все еще составляли крепостные, а более половины говорили на родном языке, который не был русским. Доклад принес Уварову пост министра просвещения, но и больше почти ничего. Еще полвека царизм сопротивлялся уваровским искушениям. Лишь в годы правления Александра III (1881–1894) русификация стала официальной политикой династии: гораздо позже, чем в империи появились украинский, финский, латышский и иные национализмы. Есть доля иронии в том, что первые меры по русификации были предприняты именно в отношении тех «национальностей», которые были наиболее *Keisertreu*[233], в частности, прибалтийских немцев. В 1887 г. в прибалтийских провинциях русский язык был сделан обязательным языком преподавания во всех государственных школах, кроме начальных; позднее эта мера была распространена и

на частные школы. В 1893 г. Дерптский университет, одно из самых передовых учебных заведений на территории империи, был закрыт из-за того, что в лекционных аудиториях продолжал применяться немецкий язык. (Напомним, что немецкий язык был к тому времени провинциальным государственным языком, а не голосом массового националистического движения.) И так далее. Сетон-Уотсон идет еще дальше и высказывает рискованное предположение, что революция 1905 г. была «в такой же степени революцией нерусских против русификации, в какой и революцией рабочих, крестьян и радикальной интеллигенции против самодержавия. Эти два восстания были, разумеется, связаны: наиболее ожесточенно социальная революция протекала именно в нерусских регионах, и главными действующими лицами в ней были польские рабочие, латышские крестьяне и грузинские крестьяне»[234].

В то же время было бы большой ошибкой предполагать, будто русификация, будучи династической политикой, не достигла одной из главных своих целей: закрепления за тронем лидерства в растущем «великорусском» национализме. И дело тут не просто в пристрастиях. В конце концов, перед русскими функционерами и предпринимателями открылись широчайшие возможности в огромной бюрократии и разрастающемся рынке, которые им предоставила империя.

Не менее интересна, чем царь Александр III, русификатор всей Руси, его современница Виктория Саксен-Кобург-Готская, королева Англии и в поздние годы жизни императрица Индии. На самом деле, ее титул даже интереснее, чем ее персона, ибо символически представляет утолщение слоя металлической сварки между нацией и империей[235]. Ее правление также знаменует рождение «официального национализма» в лондонском стиле, сильно смахивающего на проводимую Санкт-Петербургом политику русификации. Чтобы по достоинству оценить это сходство, хорошо подошло бы лонгитюдное сравнение.

В «Распаде Британии» Том Нейрн поднимает вопрос о том, почему в конце XVIII в. не возникло шотландского националистического движения, несмотря на наличие набиравшей силу шотландской буржуазии и выдающейся шотландской интеллигенции[236]. Хобсбаум решительно отверг проницательные размышления Нейрна, заметив: «Было бы чистым анахронизмом ожидать, чтобы [шотландцы] потребовали в это время независимого государства»[237]. Впрочем, если вспомнить, что Бенджамин Франклин, один из подписантов американской Декларации независимости, родился на пять лет раньше Давида Юма, то, возможно, мы склонимся к тому мнению, что суждение самого Хобсбаума несколько анахронично[238]. Мне кажется, что проблемы и их решение следует искать в другом месте. С другой стороны, нельзя не заметить у Нейрна старую добрую националистическую готовность трактовать свою «Шотландию» как непроблематичную, изначальную данность. Блок напоминает о разношерстных предках этой «сданности», отмечая, что опустошительные набеги датчан и Вильгельма Завоевателя навсегда опрокинули культурную гегемонию северной, англосаксонской Нортумбрии, символизируемой такими светилами, как Алкуин и Беда Достопочтенный:

“ «Часть севера была навеки отделена от собственно Англии. Отрезанные от других населений с англосаксонской речью поселением викингов в

Йоркшире низменности, окружавшие нортумбрийскую цитадель в Эдинбурге, оказались под властью кельтских вождей с возвышенностей. Таким образом, двуязычное королевство Шотландия стало, благодаря своеобразному удару с тыла, творением скандинавских вторжений»[239].

Сетон-Уотсон, со своей стороны, пишет, что шотландский язык

“ «...развился из слияния саксонского и французского, хотя доля последнего в нем была меньше, а доля кельтских и скандинавских источников гораздо больше, чем на юге. На этом языке говорили не только на востоке Шотландии, но и в Северной Англии. На шотландском, или „североанглийском“, языке говорили при шотландском дворе; им пользовались как элита общества (которая иногда могла также говорить по-гэльски), так и население Низменностей в целом. Это был язык поэтов Роберта Генрисона и Уильяма Данбара. Он мог бы развиваться как отдельный литературный язык и дожить до настоящего времени, если бы заключенный в 1603 г. союз корон не принес главенство южно-английского языка, распространив его на королевский двор, администрацию и высший класс Шотландии»[240].

Главное тут вот что: уже в начале XVII в. значительные части того, что должно было быть в один прекрасный день вообразено как Шотландия, были англоязычными и, учитывая наличие минимальной степени грамотности, имели непосредственный доступ к печатному английскому языку. Позднее, в начале XVIII в., англоязычные Низменности в сотрудничестве с Лондоном почти окончательно искоренили Gaeltacht. В обоих «бросках на север» не было никакой сознательной политики англиизации: в обоих случаях англиизация была, по существу, побочным продуктом. Однако, скомбинировавшись, они еще «до» наступления эпохи национализма эффективно устранили саму возможность опирающегося на особый родной язык националистического движения в европейском стиле. Но почему бы тогда не в американском стиле? Частично на этот вопрос по ходу дела отвечает Нейрн, говоря о «массовой интеллектуальной миграции» на юг, происходившей начиная с середины XVIII в.[241] Однако интеллектуальной миграцией дело не ограничивалось. Шотландские политики переезжали на юг заниматься законотворчеством, а шотландские бизнесмены открывали доступы к лондонским рынкам. В итоге, в полном отличии от тринадцати колоний (и в меньшей степени от Ирландии), на пути всех этих пилигримов к центру не были нагромождены баррикады. (Сравните с широкой дорогой в Вену, открывшейся в XVIII в. перед венграми, умевшими читать на латыни и на немецком.) Английскому языку еще только предстояло стать «английским».

К тому же можно подойти и иначе, рассмотрев вопрос под другим углом зрения. В XVII в. Лондон фактически возобновил присвоение заморских территорий, приостановленное после катастрофического окончания столетней войны. Однако «дух» этих завоеваний все еще оставался в своей основе духом донациональной эпохи. И ничто так поразительно это не подтверждает, как то, что «Индия» стала «Британской» лишь через двадцать лет после восшествия на престол королевы Виктории. Иначе говоря, до подавления восстания сипаев в

1857 г. «Индией» управляло коммерческое предприятие — не государство, и уж совершенно точно не национальное государство.

Однако изменение уже близилось. Когда в 1813 г. была представлена на возобновление в парламент хартия Ост-Индской компании, он обязал ее направлять по 100 000 рупий в год на поддержку туземного образования: как «восточного», так и «западного». В 1823 г. была учреждена Комиссия по общественному образованию в Бенгалии; а в 1834 г. президентом этой комиссии стал Томас Бэбингтон Маколей. Заявив, что «одна полка добротной европейской библиотеки стоит всей туземной литературы Индии и Аравии»[242], он написал в следующем году свою знаменитую «Записку об образовании». В отличие от уваровских, его рекомендации достигли большего успеха и нашли немедленное практическое применение. Должна была быть введена специфически английская система образования, призванная, по неподражаемым словам самого Маколея, создать «особый класс людей — индийцев по крови и цвету, но англичан по вкусу, мнению, морали и интеллекту»[243]. В 1836 г. он писал:

“ «Ни один индиец, получив английское образование, не остается всей душой привязан к своей религии... Мое твердое убеждение [а таковым оно было всегда] состоит в том, что если последовать нашим планам образования, то уже через тридцать лет в респектабельных классах Бенгалии не останется ни одного идолопоклонника»[244].

Есть здесь, конечно, и некоторый наивный оптимизм, заставляющий нас вспомнить о Фермине, жившем полстолетия раньше в Боготе. Важно, однако, что тут мы имеем дело с долгосрочной (рассчитанной на 30 лет!) сознательно сформулированной и проводимой политикой, нацеленной на превращение «идолопоклонников» не столько даже в христиан, сколько англичан по культуре несмотря на их непоправимые цвет и кровь. Задумано своего рода духовное смешение рас, которое, при сравнении с ферминовским физическим, показывает, что империализм, как и многое другое в викторианскую эпоху, достиг необычайного прогресса в утонченности. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что отныне во всех уголках разрастающейся империи проводилась, хотя и с разной скоростью, политика маколеизма[245].

Как и русификация, англизация, естественно, тоже открывала радужные перспективы перед целыми армиями жителей метрополии, принадлежавших к среднему классу (в том числе не в последнюю очередь перед шотландцами!) — функционерами, школьными наставниками, торговцами и плантаторами, — которые быстро развернулись на просторах необъятной, постоянно освещаемой солнцем империи. И все-таки было между империями, управляемыми из Санкт-Петербурга и Лондона, одно основополагающее отличие. Царство оставалось «сплошным» континентальным владением, находящимся в границах умеренных и арктических зон Евразии. Из одного конца в другой можно было, так сказать, добраться пешком. Языковое родство со славянским населением Восточной Европы и — как бы помягче выразиться? — исторические, политические, религиозные и экономические связи со многими неславянскими народами означали, что, в сравнительном плане, барьеры на пути в Санкт-Петербург не были непроницаемы[246]. Британская империя, в свою очередь, была

скоплением преимущественно тропических владений, разбросанных по всем континентам. Лишь меньшинство подчиненных ей народов имело длительные религиозные, языковые, культурные или даже политические и экономические связи с метрополией. Сопоставляемые друг с другом в Юбилейный год, они напоминали те как попало подобранные коллекции полотен старых мастеров, второпях собираемые английскими и американскими миллионерами, которые в конце концов превращаются в официально-имперские государственные музеи.

Хорошей иллюстрацией последствий являются горестные воспоминания Бипина Чандра Пала, который в 1932 г., спустя столетие после маколеевской «Записки», все еще был переполнен гневом, когда писал, что индийские магистраты

“ «не только проходили жесточайшую проверку наравне с британскими членами этой службы, но и проводили лучшие годы своей юности в Англии. По возвращении на родину они вели практически такой же образ жизни, что и их сослуживцы, и с почти религиозным рвением соблюдали светские условности и этические стандарты последних. В те дни рожденный в Индии гражданский служащий [sic — сравните с нашими испано-американскими креолами] практически отрезал себя от своего родительского общества, живя, двигаясь и вообще существуя в атмосфере, столь дорогой его коллегам-британцам. По уму и манерам он был таким же англичанином, как и любой англичанин. Это было с его стороны немалой жертвой, ибо таким образом он полностью отчуждался от общества своего народа и социально и морально становился в нем парией... Он был таким же чужим на родной земле, как и поселившиеся в стране европейцы»[247].

Пожалуй, довольно о Маколее. Гораздо серьезнее было то, что такие чужаки в родной стране были, вдобавок к тому, еще и обречены — не менее фатально, чем американские креолы — находиться в «иррациональном» постоянном подчинении у английских матурранго. И дело не просто в том, что Палу, сколь бы он ни был англиизирован, были навсегда заказаны высшие посты в его стране. Для него было закрыто и движение за пределы ее периметра: как горизонтальное (скажем, на Золотой Берег или в Гонконг), так и вертикальное (в метрополию). Он мог быть «полностью отчужден от общества своего народа», но при этом был приговорен пожизненно нести службу среди этих людей. (Конкретный состав «этих людей», разумеется, менялся по мере пространственного расширения британских владений на субконтиненте[248].)

Позднее мы еще обратимся к тому, как повлияли официальные национализмы на подъем азиатских и африканских национализмов XX в. Здесь для наших целей необходимо лишь подчеркнуть, что англизация производила тысячи и тысячи Палов по всему миру. Это как ничто другое подчеркивает фундаментальное противоречие английского официального национализма, а именно, внутреннюю несовместимость империи и нации. Я намеренно говорю «нации», потому что всегда есть соблазн объяснить этих Палов в терминах расизма. Никто в здравом уме не решился бы отрицать глубоко расистский характер английского империализма XIX в. Но ведь существовали свои Палы и в белых колониях: Австралии, Новой

Зеландии, Канаде и Южной Африке. Там тоже были толпы английских и шотландских школьных наставников; англизация была также и культурной политикой. Как и перед Палом, перед ними был закрыт тот петляющий путь наверх, который был еще открыт в XVIII в. перед шотландцами. Англизированные австралийцы не служили ни в Дублине, ни в Манчестере, ни даже в Оттаве или Кейптауне. Еще очень долго они не могли стать и генерал-губернаторами в Канберре[249]. Таковыми могли быть только «английские англичане», т. е. члены пока еще наполовину скрытой английской нации.

За три года до того, как Ост-Индская компания утратила свои индийские охотничьи угодья, коммодор Перри, прибыв со своими черными кораблями, окончательно снес стены, на протяжении долгого времени державшие Японию в ее добровольно изоляции. После 1854 г. самоуверенность и внутренняя легитимность Бакуфу (режима сёгуната Токугава) были быстро подорваны его очевидным бессилием перед проникновением Запада. Самураи среднего ранга, прежде всего из княжеств [хан] Сацума и Тёсю, объединившиеся в небольшой отряд под лозунгом «сонно дзёи» («почитание суверена, изгнание варваров»), в 1868 г. в конце концов свергли этот режим. Среди причин их успеха было исключительно творческое усвоение — особенно начиная с 1860 г. — новой западной военной науки, систематизированной после 1815 г. прусскими и французскими штабными профессионалами. Благодаря этому им удалось эффективно использовать 7300 ультрасовременных ружей (по большей части сохранившихся еще со времен американской гражданской войны), которые они приобрели у одного английского торговца оружием[250]. «В применении ружей... люди Тёсю достигли такого мастерства, что старые леденящие кровь методы сечи и резни были против них совершенно бесполезны»[251].

Однако, едва оказавшись у власти, повстанцы, которых мы помним сегодня как олигархов Мэйдзи, обнаружили, что их воинская доблесть еще не гарантировала автоматически политической легитимности. Если тэнно («императора») со свержением режима Бакуфу еще можно было быстро восстановить, то изгнать варваров было не так-то просто[252]. Геополитическая безопасность Японии оставалась такой же хрупкой, как и до 1868 г. Одним из основных средств, принятых для консолидации внутривластной позиции олигархии, стал, таким образом, вариант «официального национализма» середины века, вполне сознательно скопированный по образцу Пруссии-Германии Гогенцоллернов. В 1868–1871 гг. все остатки местных «феодальных» военных отрядов были распущены, и Токио получил централизованную монополию на применение средств насилия. В 1872 г. имперским Эдиктом было предписано введение всеобщей грамотности среди взрослого мужского населения. В 1873 г. Япония, задолго до Соединенного Королевства, ввела всеобщую воинскую повинность. Одновременно режим упразднил самурайское сословие как законодательно определенный и привилегированный класс, что стало важным шагом не только в (постепенном) предоставлении всем дарованиям возможности служить в офицерском корпусе, но и попыткой вписаться в «доступную» теперь модель «нации граждан». Японское крестьянство было освобождено от подчинения феодальной системе княжеств и с этого времени стало напрямую эксплуатироваться государством и торгово-аграрными землевладельцами[253]. В 1889 г. последовало принятие конституции на прусский манер, а со временем было введено всеобщее избирательное право для мужчин.

В проведении этой организованной кампании сторонникам Мэйдзи помогали три полуслучайных удачных фактора. Первым была относительно высокая этнокультурная гомогенность японцев, ставшая результатом политики изоляции и внутреннего усмирения, проводимой на протяжении двух с половиной веков режимом Бакуфу. Хотя японский язык, на котором говорили на Кюсю, был почти совсем непонятен на Хонсю, и вербальная коммуникация оказывалась проблематичной даже для Эдо-Токио и Киото-Осаки, на всех островах долгое время существовала полукитаизированная идеографическая система чтения, благодаря которой развитие массовой грамотности через школы и печать протекало легко и без сопротивления. Во-вторых, уникальная древность императорского дома (Япония — единственная страна, где монархия на протяжении всей ее письменно задокументированной истории была монополизирована одной династией) и его символическая японскость (сравните с Бурбонами и Габсбургами) существенно упрощали использование Императора в официально-националистических целях[254]. В-третьих, проникновение варваров было внезапным, массивным и достаточно угрожающим для большинства элементов политически-сознательного населения, благодаря чему они могли сплотиться вокруг программы самозащиты, понятой в новых национальных категориях. Стоит подчеркнуть, что эта возможность напрямую связана со временем западного проникновения, а именно: 60-ми годами XIX в., в противоположность 60-м годам XVIII в. Ибо к этому времени в большей части Европы вот уже на протяжении полувека вступало в свои права «национальное сообщество» как в популярной, так и в официальной его версии. В результате, самозащита могла быть смоделирована в согласии и соответствии с тем, чему суждено было стать позднее «международными нормами».

То, что эта рискованная игра себя окупала, несмотря на ужасающие страдания, причиненные крестьянству безжалостными фискальными поборами, необходимыми для оплаты военизированной программы индустриализации, несомненно, в какой-то степени было обусловлено односторонней ориентацией самих олигархов. Удачно придя к власти в эпоху, когда номерные счета в Цюрихе были в далеком будущем, которое даже во сне не могло пригрезиться, они были избавлены от искушения выводить извлекаемую прибыль за пределы Японии. Они, коим посчастливилось править в эпоху, когда военная технология развивалась еще относительно неспешно, имели возможность с помощью своей запоздалой программы вооружения превратить Японию к концу века в самостоятельную военную державу. Впечатляющие успехи, достигнутые японской армией, набранной на основе воинской повинности, в вооруженных действиях против Китая (1894–1895) и военно-морским флотом Японии в войне с Россией (1905), а также аннексия Тайваня (1895) и Кореи (1910), сознательно пропагандируемые через школы и печать, были крайне полезны для создания общего впечатления, что консервативная олигархия является аутентичным представителем нации, членами которой японцы в своем воображении все более начинали себя мыслить.

То, что этот национализм принял агрессивный империалистический характер даже вне правящих кругов Японии, лучше всего объяснить двумя факторами: наследием ее продолжительной изоляции и могуществом официально-национальной модели. Маруяма пронзительно замечает, что в Европе все национализмы выросли в контексте традиционного плюрализма взаимодействующих династических государств — или, как я сформулировал то же самое выше, европейская универсальность латыни никогда не имела

политического коррелята:

“ «Национальное сознание в Европе, следовательно, с самого своего зарождения несло на себе печать осознания международного общества. Само собой предполагалось, что споры между суверенными государствами суть конфликты между независимыми членами этого международного общества. По этой самой причине война со времен Гроция занимала важное и систематическое место в международном праве»[255].

Многовековая изоляция Японии, в свою очередь, предполагала, что здесь

“ «осознание равноправия в международных делах полностью отсутствовало. Странники изгнания [варваров] смотрели на международные отношения со своих позиций в национальной иерархии, основанной на превосходстве вышестоящих над нижестоящими. А потому, когда исходные посылки национальной иерархии были горизонтально перенесены в международную сферу, международные проблемы оказались сведены к одной-единственной альтернативе: покорять или быть покоренными. В отсутствие каких-либо высших нормативных стандартов, с которыми можно бы было соотнести международные отношения, политика силы неизбежно становится правилом, и вчерашняя осторожная оборонительность оборачивается сегодняшним неограниченным экспансионизмом»[256].

Во-вторых, основными моделями для японской олигархии были самонатурализирующиеся династии Европы. Учитывая, что эти династии все больше и больше определяли себя в национальных категориях, расширяя в то же время свою власть за пределами Европы, неудивительно, что эта модель должна была быть воспринята в имперском духе[257]. Как показал раздел Африки на Берлинской конференции (1885), великими нациями были всемирные завоеватели. Но тогда вполне правдоподобно, что и Японии для того, чтобы ее признали «великой», надо было превратить тэнно в Императора и пуститься в заморские авантюры, пусть даже она вступила в игру слишком поздно и ей еще предстояло многое наверстать. Мало что позволяет острее ощутить, как отразились эти остатки на сознании читающего населения, чем следующая формулировка радикал-националистического идеолога и революционера Кита Икки (1884–1937), содержащаяся в его влиятельной работе «Нихон кайдзо хоан тайко» [Очерк о реконструкции Японии], опубликованной в 1924 г.:

“ «Как классовая борьба внутри нации ведется ради исправления неравенства, так и война между нациями за правое дело призвана исправить существующие несправедливые различия. Британская империя — миллионер, владеющий богатствами по всему миру; Россия — великий землевладелец, занимающий северную половину земного шара. Япония с ее разбросанной на окраине [sic] группой островов — страна пролетариата, и она имеет право объявить войну крупным монопольным державам. Социалисты Запада противоречат самим себе, когда признают право

пролетариата на классовую борьбу у себя дома и в то же время осуждают войну, ведущуюся пролетариатом между нациями, как милитаризм и агрессию... Если допустимо, чтобы рабочий класс объединился ради свержения несправедливой власти посредством кровопролития, то следует выразить безусловное одобрение и тому, чтобы Япония усовершенствовала свою армию и флот и вступила в войну за исправление несправедливых международных границ. От имени разумной социал-демократии Япония предъявляет свои претензии на Австралию и Восточную Сибирь»[258].

Остается только добавить, что в процессе расширения империи после 1900 г. японизация в духе Маколея стала сознательно проводимой государственной политикой. В период между двумя мировыми войнами в отношении корейцев, тайваньцев и маньчжуров, а с началом войны на Тихом океане в отношении бирманцев, индонезийцев и филиппинцев осуществлялась политика, для которой европейская модель была уже установившейся рабочей практикой. И так же, как это было в Британской империи, японизированным корейцам, тайваньцам или бирманцам были полностью перекрыты пути в метрополию. Они могли в совершенстве говорить и читать по-японски, но ни при каких обстоятельствах не могли встать во главе префектуры на острове Хонсю и даже получить пост за пределами тех зон, в которых они родились.

Теперь, когда мы рассмотрели три разных случая «официального национализма», важно подчеркнуть, что на эту модель могли сознательно ориентироваться государства, не имевшие серьезных великодержавных претензий, до тех пор, пока оставались такими государствами, где правящие классы или лидирующие элементы чувствовали, что всемирное расползание национально-воображенных сообществ ставит их под угрозу. Вероятно, полезно будет сравнить два таких государства: Сиам и Венгрию-в-составе-Австро-Венгрии.

Чулалонгкорн, современник Мэйдзи, правивший на протяжении долгого времени (1868–1910), избрал для защиты своего королевства от западного экспансионизма стиль, заметно отличавшийся от стиля его японского «коллеги»[259]. Зажатый между британскими Бирмой и Малайей и французским Индокитаем, он вместо того, чтобы попытаться создать серьезную военную машину, посвятил себя тонкой манипулятивной дипломатии. (Военное министерство было создано лишь в 1894 г.) Навевая воспоминания о Европе XVIII в., его вооруженные силы в основном представляли собой разношерстные вооруженные отряды, состоявшие из вьетнамских, кхмерских, лаосских, малайских и китайских наемников и подданных. Почти ничего не делалось и для насаждения официального национализма через модернизованную систему образования. Фактически, обязательное начальное образование было введено лишь через десять с лишним лет после его кончины, а первый в стране университет был учрежден лишь в 1917 г., на сорок лет позже основания Императорского университета в Токио. Несмотря на все это, Чулалонгкорн считал себя модернизатором. Однако основными образцами для него были не Соединенное Королевство и не Германия, а колониальные *beamtenstaaten* голландской Ост-Индии, британская Малайя

и Радж[260]. Следование этим моделям предполагало рационализацию и централизацию королевского правительственного аппарата, упразднение традиционных полуавтономных государств-сателлитов и оказание содействия экономическому развитию более или менее в русле колониальных принципов. Самым поразительным примером этого — примером, странным образом предвосхитившим сегодняшнюю Саудовскую Аравию, — было активное поощрение им массовой иммиграции молодых одиноких иностранцев мужского пола с целью формирования дезориентированной, политически бесправной рабочей силы, необходимой для строительства портовых сооружений, железных дорог, рытья каналов и расширения коммерческого сельского хозяйства. Импорт гастарбайтеров совпадал с политикой, проводимой властями Батавии и Сингапура, и фактически был смоделирован по ее образцу. И так же, как в случае нидерландской Ост-Индии и британской Малайи, огромная масса рабочих, импортируемых в XIX в., была из Юго-Восточного Китая. Поучительно, что Чулалонгкорну эта политика не принесла ни личных волнений, ни политических затруднений — так же, как и тем колониальным правителям, которым он подражал. По сути, эта политика дала династическому государству недолгое ощущение благополучия, поскольку создала бессильный рабочий класс «вне» тайского общества, оставив само это общество в значительной степени «незатронутым».

«Собирать осколки разбитой посуды» пришлось его сыну и наследнику Вачиравуту (правившему в 1910–1925 гг.), взявшему на этот раз за образец самонатурализирующихся монархов Европы. Несмотря на то — и благодаря тому, — что он получил образование в поздневикторианской Англии, он стал играть роль «первого националиста» своей страны[261]. Объектом неприязни для этого национализма стало, между тем, не Соединенное Королевство, державшее под контролем 90 процентов сямской торговли, и не Франция, незадолго до этого покинувшая Сиама, оставив за собой лишь расположенные к востоку от него сегменты старой империи: им стали китайцы, которых еще совсем недавно беспечно импортировал в страну его отец. О стиле его антикитайской позиции говорят заглавия двух самых известных его памфлетов: «Евреи Востока» (1914) и «Палки в наших колесах» (1915).

Отчего произошло это изменение? Во-первых, свою роль, несомненно, сыграли драматические события, непосредственно предшествовавшие его коронации в ноябре 1910 г. и последовавшие за ней. В июне этого года пришлось прибегнуть к силам полиции для подавления всеобщей забастовки китайских торговцев (детей первых иммигрантов, устремленных вверх по социальной лестнице) и рабочих Бангкока, ознаменовавшей их посвящение в сямскую политику[262]. А в следующем году разношерстным набором групп, среди которых присутствовали и торговцы, была сметена Небесная монархия в Пекине. Таким образом, «китайцы» явились предвестниками популярного республиканства, всерьез угрожавшего династическому принципу. Во-вторых, как показывают слова «евреи» и «Восток», этот англизированный монарх перенял особые расизмы английского правящего класса. Однако, вдобавок к тому, Вачиравут был фактически и своего рода азиатским Бурбоном. В донациональную эпоху его предки охотно брали в жены и наложницы привлекательных китайских девушек, вследствие чего в его жилах, говоря языком Менделя, текло больше китайской «крови», чем тайской[263].

Здесь мы имеем прекрасную иллюстрацию природы официального национализма: упреждающей стратегии, принимаемой господствующими группами, когда над ними нависает угроза маргинализации или исключения из возникающего национально-воображенного сообщества. (Не стоит и говорить, что Вачиравут привел в движение все политические рычаги официального национализма: обязательное начальное образование под опекой государства, государственную пропаганду, официальное переписывание истории, милитаризм — тут это было скорее показательное шоу, чем что-то реальное, — и бесконечную череду подтверждений идентичности династии и нации[264]).

Развитие венгерского национализма в XIX в. показывает отпечаток «официальной» модели иным образом. Ранее мы уже говорили о том, каким яростным сопротивлением встретило латиноязычное мадьярское дворянство предпринятую Иосифом II в 80-е годы XVIII в. попытку сделать немецкий язык единственным государственным языком империи. Более обеспеченные сегменты этого класса боялись в условиях централизованного, отлаженного управления под началом имперско-немецких бюрократов потерять свои синекуры. Низшие эшелоны панически боялись того, что могут потерять освобождение от налогов и обязательной службы в армии, а также контроль над крепостными крестьянами и сельскими поместьями. Однако, наряду с защитой латыни, раздавались голоса, надо сказать, весьма оппортунистические, в защиту мадьярского языка, «ибо в долгосрочной перспективе мадьярская администрация казалась единственной работоспособной альтернативой немецкой»[265]. Бела Грюнвальд по этому поводу ехидно заметил, что «те же самые графства, которые (выступая против указа императора) подчеркивали возможность делопроизводства на мадьярском языке, в 1811 г. — т. е. спустя двадцать семь лет — уже уверяли в невозможности этого». Еще два десятилетия спустя в одном весьма «националистически» настроенном венгерском графстве говорили, что «введение мадьярского языка поставило бы под угрозу нашу конституцию и все наши интересы»[266]. Мадьярское дворянство — класс, насчитывавший примерно 136 тыс. душ, монополизировавших землю и политические права в стране с населением около 11 млн. человек[267], — стало по-настоящему мадьяризироваться только в 40-е годы XIX в., да и то лишь ради того, чтобы не оказаться на обочине истории.

В то же время постепенный рост грамотности (к 1869 г. грамоте была обучена треть взрослого населения), распространение печатного мадьярского языка и рост небольшой, но очень энергичной либеральной интеллигенции, стимулировали развитие массового венгерского национализма, понимаемого совершенно иначе, чем национализм дворянства. Этот народный национализм, символом которого стала для последующих поколений фигура Лайоша Кошута (1802–1894), достиг своего апогея в революции 1848 г. Революционный режим не только избавился от назначаемых Веней имперских губернаторов, но также распустил якобы исконно-мадьярское Собрание Благородных Помещиков и провозгласил реформы, призванные положить конец крепостничеству и освобождению дворян от уплаты налогов, а также решительно обуздать передачу по наследству родовых имений. Кроме того, было решено, что все говорящие по-венгерски должны быть венграми (ибо раньше ими были только привилегированные), а каждый венгр должен говорить по-мадьярски (ибо до

тех пор это было в обычае лишь у некоторых мадьяров). Как сухо замечает по этому поводу Игнутус, «нация», по стандартам той эпохи (наблюдавшей с безграничным оптимизмом восхождение звезд Либерализма и Национализма), имела все основания чувствовать себя крайне великодушной, «приняв в свой состав мадьярского крестьянина без всякой дискриминации, за исключением имущественной[268], христиан-немадьяров при условии, что они отныне станут мадьярами, и наконец, с некоторой неохотой и двадцатилетним опозданием, евреев»[269]. Собственная позиция Кошута, занятая им в его безрезультатных переговорах с лидерами различных немадьярских меньшинств, состояла в том, что эти народы должны иметь такие же гражданские права, как и мадьяры, но, ввиду отсутствия в них «исторических личностей», не могут образовать свои собственные нации. С высоты сегодняшнего дня эта позиция может показаться немного высокомерной. Но она предстанет в более выгодном свете, если вспомнить, что выдающийся молодой поэт и радикал-националист Шандор Петефи (1823–1849), главный вдохновитель революции 1848 г., однажды отозвался о меньшинствах как о «язвах на теле родины»[270].

После подавления революционного режима в августе 1849 г. царскими войсками Кошут отправился в пожизненное изгнание. Теперь была расчищена площадка для возрождения «официального» мадьярского национализма, олицетворением которого служат реакционные режимы графа Кальмана Тисы (1875–1890) и его сына Иштвана (1903–1906). Причины этого возрождения говорят о многом. В 1850-е годы авторитарно-бюрократическая администрация Баха в Вене сочетала суровые политические репрессии с решительным осуществлением ряда социальных и экономических мер, провозглашенных в 1848 г. революционерами (прежде всего таких, как отмена крепостного права и освобождение дворянства от уплаты налогов), а также содействовала развитию современных коммуникаций и крупных капиталистических предприятий[271]. Лишенное в значительной степени своих феодальных привилегий и бывшего надежного положения, неспособное экономически конкурировать с крупными землевладельцами и активными немецкими и еврейскими предпринимателями, прежнее средне- и мелкопоместное мадьярское дворянство пришло в упадок и выродилось в класс сердитых и напуганных сельских помещиков.

Удача, между тем, оказалась на их стороне. Потерпев в 1866 г. позорное поражение от прусских войск в Кёниггрецком сражении, Вена в Ausgleich (Компромиссе) 1867 г. была вынуждена пойти на учреждение Двойственной монархии. С тех пор Королевство Венгрия стало пользоваться существенной автономией в управлении своими внутренними делами. Первыми, кто выиграл от Ausgleich, были либерально настроенные представители высшей мадьярской аристократии и образованные профессионалы. В 1868 г. администрация просвещенного магната графа Дьюлы Андраши ввела в действие Закон о национальностях, давший немадьярским меньшинствам «все права, на которые они когда-либо претендовали или могли претендовать — за исключением превращения Венгрии в федерацию»[272]. Однако в 1875 г., с приходом Тисы на пост премьер-министра, началась эпоха, когда реакционное мелкопоместное дворянство в условиях относительной свободы от венского вмешательства успешно вернуло свои утраченные позиции.

В экономической области режим Тисы предоставил полную свободу действий крупным аграрным магнатам[273], но политическая власть по существу была монополизирована

мелкопоместным дворянством. Ибо:

“ «для ущемленных в правах собственности осталась одна-единственная ниша: административная паутина национальных и местных органов управления и армия. Чтобы укомплектовать их кадрами, Венгрия нуждалась в колоссальном штате людей; но если даже и не нуждалась, то могла, по крайней мере, делать вид, что нуждается. Половину страны составляли „национальности“, которые нужно было держать под контролем. Приводились доводы, что, дескать, финансирование огромной армии надежных, мадьярских, благовоспитанных провинциальных магистратов ради сохранения контроля над ними — скромная плата за соблюдение национального интереса. Проблема многонациональности была ниспослана Богом; и это извиняло умножение числа синекур».

Стало быть, «магнаты владели наследственными поместьями; мелкопоместное дворянство владело наследственными должностями»[274]. Таковы были социальные основы той безжалостной политики насильственной мадьяризации, которая после 1875 г. превратила Закон о национальностях в мертвую букву. Правовое ограничение избирательного права, рост числа «гнилых местечек», фальсификация выборов и организация политических убийств в сельских районах[275] консолидировали власть Тисы и его избирателей, но одновременно и подчеркивали «официальный» характер их национализма.

Яси справедливо сравнивает эту мадьяризацию конца XIX в. с «политикой русского царизма в отношении поляков, финнов и русинов[276], политикой Пруссии в отношении поляков и датчан и политикой феодальной Англии в отношении ирландцев»[277]. Соединение реакции и официального национализма ярко иллюстрируют следующие факты: в то время как главным элементом политики режима была языковая мадьяризация, к концу 80-х годов прошлого века румынами были всего 2 % чиновников в наиболее важных подразделениях центральных и местных органов власти, несмотря на то, что румыны составляли 20 % населения, «да и эти 2 % состояли на низших должностях»[278]. С другой стороны, до начала первой мировой войны в венгерском парламенте не было «ни одного представителя рабочих классов и безземельного крестьянства (подавляющего большинства населения страны)... а среди 413 членов парламента было всего 8 румын и словаков — и это в стране, где только 54 % жителей говорили на мадьярском как на своем родном языке»[279]. В свете этого нас почти не удивляет, что когда в 1906 г. Вена ввела войска, чтобы разогнать этот парламент, «не было ни одного массового митинга, ни одного плаката, ни одного массового воззвания против новой эры „венского абсолютизма“. Напротив, рабочие массы и национальности взирали на беспомощные потуги национальной олигархии со злорадным восторгом»[280].

Триумфальную победу, одержанную после 1875 г. «официальным национализмом» реакционного мадьярского мелкопоместного дворянства, нельзя, однако, объяснить одной только политической силой этой группы или той свободой маневра, которую она унаследовала от Ausgleich. Дело в том, что до 1906 г. двор Габсбургов был просто не в состоянии решительно выступить против режима, остававшегося во многих отношениях

опорой империи. Прежде всего, династия была неспособна навязать свой собственный энергичный официальный национализм. И не только потому, что, по словам выдающегося социалиста Виктора Адлера, этот режим был «Absolutismus gemildert durch Schlamperei [абсолютизмом, умеренным расхлябанностью]»[281]. Эта династия едва ли не дольше, чем где бы то ни было, продолжала цепляться за оставшиеся в прошлом понятия. «В своем религиозном мистицизме каждый из Габсбургов ощущал себя исполнителем божественной воли, связанным особыми узами с божеством. Этим как раз и объясняются их граничащая с беспринципностью позиция посреди исторических катастроф и вошедшая в поговорку неблагодарность. Получило широкое хождение выражение: Der Dank vom Hause Habsburg»[282]. Еще, вдобавок к тому, была мучительная ревность к гогенцоллерновской Пруссии, которая все дальше удирала с похищенной табличкой «Священная Римская империя» и превращала себя в Германию; и эта ревность заставляла династию настаивать на надменном «патриотизме во имя меня» Франца II.

В то же время любопытно, что в последние дни своего существования династия, возможно, сама немало тому изумившись, открыла духовное родство с собственными социал-демократами, притом настолько тесное, что некоторые их общие враги стали ехидно поговаривать о «Burgsozialismus [придворном социализме]». В этой временной коалиции с каждой стороны, несомненно, присутствовала смесь макиавеллианского расчета и идеализма. Можно увидеть эту смесь в яростной кампании, которую подняли в 1905 г. австрийские социал-демократы против экономического и военного «сепаратизма», насаждаемого режимом графа Иштвана Тисы. Например, Карл Реннер «подверг суровой критике трусость австрийской буржуазии, которая втихомолку начала соглашаться с сепаратистскими планами мадьяров, в то время как „венгерский рынок для австрийского капитала неизмеримо важнее, чем для немецкого — марокканский“, который внешняя политика Германии так энергично защищает. В выдвигаемом требовании независимой венгерской таможенной территории он видел не что иное, как выкрики городских акул, мошенников и политических демагогов, идущие вразрез с подлинными интересами австрийской промышленности, австрийских рабочих классов и венгерского крестьянского населения»[283]. Аналогичным образом, Отто Бауэр писал:

“ «Конечно, в эпоху русской революции [1905 г.] никто не дерзнет покорить раздираемую классовыми и национальными противоречиями страну [Венгрию] грубой военной силой. Но внутренние противоречия страны представляют короне другие средства, которыми она должна будет воспользоваться во избежание судьбы династии Бернадотт. Она не может быть органом двух волей и все же хочет господствовать и над Австрией, и над Венгрией. Так вот, ей придется позаботиться, чтобы Венгрия и Австрия образовали одну общую волю, одну империю [Reich]. И для выполнения этой задачи внутренние противоречия Венгрии дают ей необходимые средства. Она пошлет свою армию в Венгрию для вторичного завоевания, но на знаменах этой армии она напишет: нефальсифицированное, всеобщее и равное избирательное право! Свобода коалиций для сельских рабочих! Национальная автономия! Идея самостоятельного венгерского национального государства [Nationalstaat] она противопоставит идею

Соединенных штатов Великоавстрии [sic], идею союзного государства [Bundesstaat], в котором каждая нация самостоятельно заведует своими национальными делами и все нации объединяются для охраны своих общих интересов. Идея союзного государства национальностей [Nationalitätenbundesstaat] необходимо, неизбежно становится орудием короны [sic! — Werkzeug der Krone], владычество которой разрушается падением дуализма»[284].

Видимо, резонно будет усмотреть в этих Соединенных штатах Великоавстрии (СШВА) «остатки» США и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (в котором в один прекрасный день должна будет прийти к власти Лейбористская партия), а также предзнаменование Союза Советских Социалистических Республик, протяженность которого странным образом навеивает воспоминания о царской империи. Дело в том, что разуму, их вообразившему, эти СШВА казались неперменным наследником конкретного династического владения (Великой Австрии) — с теми же самыми, но уже натурализованными составными частями, которые сложились в результате многовековых «мелких приобретений» Габсбургской династии.

Такие «имперские» продукты воображения были в какой-то степени неудачей социализма, родившегося в столице одной из великих династических империй Европы[285]. Как мы уже отмечали, новые воображаемые сообщества (включая мертворожденные, но все еще воображаемые СШВА), рождаемые в воображении лексикографией и печатным капитализмом, всегда так или иначе считали себя древними. В эпоху, когда еще сама «история» воспринималась многими в терминах «великих событий» и «великих вождей» как своего рода жемчужин, нанизанных на нить повествования, было явно соблазнительно вычитывать прошлое сообщества в древних династиях. Отсюда и СШВА, в которых тонкая перегородка, отделяющая империю от нации, а корону от пролетариата, почти прозрачна. И тут Бауэр ничем не выделялся среди других. Вильгельм Завоеватель и Георг I, оба даже не говорившие по-английски, продолжают непроблематично казаться бусинками, вплетенными в ожерелье «короли Англии». А «святой» Иштван (правивший в 1001–1038 гг.) мог давать своему наследнику следующие наставления:

“ «Польза от иностранцев и гостей столь велика, что им можно отдать в окружении короля шестое по значимости место... Ибо гости, прибывая из разных регионов и областей, привозят с собою разные языки и обычаи, разные знания и виды оружия. Все это служит украшением королевского двора, повышает его величавость и умеряет высокомерие иностранных держав. Ибо страна, единая в языке и обычаях, непрочно и слаба...»[286]

Такие слова, по крайней мере, нисколько не помешали обожествить его впоследствии как «Первого Короля Венгрии».

Итак, здесь доказывалось, что примерно с середины XIX в. в Европе началось становление того, что Сетон-Уотсон называет «официальными национализмами». До того, как появились массовые языковые национализмы, эти национализмы были исторически «невозможны», так как в основе своей они были реакциями властвующих групп — прежде всего династических и аристократических, хотя и не только, — которым угрожало исключение из массовых воображаемых сообществ или внутренняя маргинализация в этих сообществах. Начиналось своего рода тектоническое смещение пластов, которое после 1918 и 1945 гг. опрокинуло эти группы в канализационные стоки Эштурила и Монте-Карло. Такие официальные национализмы были консервативной, если не сказать реакционной политикой, взятой в адаптированном виде из модели преимущественно спонтанных массовых национализмов, которые им предшествовали[287]. И, в конечном счете, она не ограничилась Европой и Левантом. От имени империализма очень похожая политика проводилась такими же по типу группами на огромных азиатских и африканских территориях, находившихся в течение XIX в. в порабощении[288]. В конце концов, войдя в специфически преломленном виде в неевропейские культуры и истории, она была воспринята и симитирована коренными правящими группами в тех немногочисленных зонах (в том числе Японии и Сиаме), которые избежали прямого порабощения.

В едва ли не каждом случае официальный национализм скрывал в себе расхождение между нацией и династическим государством. Отсюда распространившееся по всему миру противоречие: словаки должны были быть мадьяризированы, индийцы — англизированы, корейцы — японизированы, но им не позволялось присоединиться к тем путешествиям, которые дали бы им возможность управлять мадьярами, англичанами или японцами. Банкет, на который их приглашали, неизменно превращался в Бармецидов пир. Причиной тому был не только расизм, но и то, что в самом сердце империй тоже рождались нации: венгерская, английская и японская. И эти нации тоже инстинктивно сопротивлялись «чужому» правлению. А стало быть, в эпоху, наступившую после 1850 г., империалистическая идеология обычно имела характер заклинательного трюка. О том, до какой степени она была заклинательным трюком, говорит то равнодушие, с которым низшие классы метрополий лишь пожимали плечами по поводу «утраты» колоний, причем даже в таких случаях, как Алжир, когда колония была законодательно включена в состав метрополии. В конце концов, всегда именно правящие классы — разумеется, буржуазные, но прежде всего аристократические — долго оплакивают империи, но их горе неизменно носит черты театрального притворства.

7. Последняя волна

Первая мировая война положила конец эпохе высокого династического правления. К 1922 г. Габсбурги, Гогенцоллерны, Романовы и Оттоманы стали достоянием прошлого. На место Берлинского Конгресса пришла Лига наций, из которой неевропейцы уже не были исключены. Отныне национальное государство стало нормой международного права, так что даже сохранившиеся к тому времени имперские державы вошли в Лигу одетыми в национальные костюмы, а не в имперскую униформу. После катастрофы второй мировой войны волна становления национальных государств переросла в настоящее наводнение. К середине 70-х осталась в прошлом даже Португальская империя.

Новые государства, возникшие после второй мировой войны, имеют свой особый характер, который, тем не менее, нельзя постичь иначе, как через ту последовательность моделей, которую мы рассматривали. Можно подчеркнуть эту преемственность, в частности, напомнив о том, что очень многие из этих наций (главным образом неевропейские) взяли в качестве государственного какой-то европейский язык. Если в этом аспекте проявилось их сходство с «американской» моделью, то из языкового европейского национализма они почерпнули его страстный популизм, а из официального национализма — его «русификаторскую» политическую направленность. Это произошло потому, что американцы и европейцы пережили сложный исторический опыт, который стал повсеместно воспроизводиться воображением, и потому, что европейские государственные языки, которыми они пользовались, были наследием империалистического официального национализма. Поэтому в политике «строительства нации», проводимой новыми государствами, очень часто можно увидеть как подлинный, массовый националистический энтузиазм, так и систематичное, даже макиавеллистски циничное впрыскивание националистической идеологии через средства массовой информации, систему образования, административные предписания и т. д. В свою очередь, эта смесь массового и официального национализма была продуктом аномалий, созданных европейским империализмом: пресловутой произвольности границ и наличия двуязычной интеллигенции, рискованно балансирующей над разнородно-одноязычным населением. Таким образом, многие из этих наций можно рассматривать как проекты, которые пока еще находятся в процессе осуществления, но в то же время такие проекты, которые понимаются, скорее, в духе Мадзини, нежели Уварова.

Когда мы рассматриваем происхождение современного «колониального национализма», сразу бросается в глаза его главное сходство с колониальными национализмами прошлого: изоморфизм между территориальными границами каждого такого национализма и территориальными границами прежней имперской административной единицы. И сходство это вовсе не случайное; оно явно связано с географией колониальных паломничеств. Отличие же состоит в том, что контуры креольских паломничеств XVIII в. определялись не только централизаторскими устремлениями абсолютистских метрополий, но также реальными проблемами коммуникации и транспорта и общей технологической

примитивностью. В XX в. эти проблемы были в основном решены, и им на смену пришла двулика «русификация».

Выше я утверждал, что в конце XVIII в. имперская административная единица стала приобретать национальное значение в какой-то степени потому, что очерчивала границы, в которых происходило восхождение креольских функционеров. В XX в. дело обстояло так же. Ведь даже в тех случаях, когда молодой смуглокожий или чернокожий англичанин получал образование или профессиональную подготовку в метрополии — а проделать такой путь могли лишь очень немногие из его креольских прародителей, — для него это было, как правило, последнее такое бюрократическое путешествие. Отныне высшей точкой его петляющего полета был высший административный центр, в который его могли назначить на должность: Рангун, Аккра, Джорджтаун или Коломбо. Между тем, в каждом таком узко ограниченном путешествии он встречался на своем пути с двуязычными путешествующими компаньонами, с которыми начинал чувствовать все возрастающую общность. В ходе своего путешествия он довольно быстро понимал, что исходная точка, из которой он отправился, будь то в этническом, языковом или географическом ее понимании, почти ничего не значит. В лучшем случае, отсюда он отправлялся в это паломничество, а не в другое, что, однако, не определяло сколь-нибудь существенно ни конечную цель его путешествия, ни его компаньонов. В этом образце берет начало тонкая, наполовину скрытая поэтапная трансформация колониального государства в национальное, ставшая возможной не только благодаря прочной преемственности персонала, но и благодаря установившемуся сплетению путешествий, через призму которого каждое государство переживалось его функционерами[289].

Между тем, с середины XIX в. все более, а в XX в. прежде всего, эти путешествия стали совершаться не просто горсткой путешественников, а огромными и разношерстными толпами. Основных факторов, которые здесь действовали, было три. Во-первых и прежде всего, необычайно возросла физическая мобильность, что стало возможно благодаря удивительным достижениям промышленного капитализма — железным дорогам и пароходам (в прошлом столетии) и автомобильному транспорту и авиации (в нынешнем). Бесконечно долгие путешествия старых Америк стремительно становились достоянием прошлого.

Во-вторых, у имперской «русификации» была как идеологическая сторона, так и практическая. Из самой протяженности глобальных европейских империй и огромной численности подвластных им населений вытекало, что чисто метропольные или даже креольские бюрократии невозможно было ни укомплектовать кадрами, ни профинансировать. Колониальному государству, а позднее и корпоративному капиталу потребовались целые армии чиновников, которым, чтобы быть полезными, нужно было владеть двумя языками, так как им предстояло стать языковыми посредниками между метропольной нацией и колонизированными народами. Потребность эта была тем более настоящей, что с начала века у государства повсюду становилось все больше и больше специализированных функций. Рядом со старым окружным головой появлялись новые фигуры: врач, ирригационный инженер, агроном, школьный учитель, полицейский и т. д. С каждым укрупнением государства росла и толпа его внутренних пилигримов[290].

Третьим фактором было распространение образования современного стиля, осуществляемое не только колониальным государством, но и частными религиозными и светскими организациями. Эта экспансия определялась не одной только целью обеспечить кадрами государственные и корпоративные иерархии, но и растущим признанием моральной значимости современного знания даже для колонизированного населения[291]. (Во многих колониальных государствах уже начинал становиться реальностью феномен образованного безработного.)

Общепризнанно, что главную роль в подъеме национализма в колониальных территориях сыграла интеллигенция, и не в последнюю очередь потому, что стараниями колониализма коренные жители среди аграрных магнатов, крупных торговцев, промышленников и даже в обширном классе профессионалов были относительной редкостью. Почти везде колониалисты либо сами монополизировали экономическую власть, либо неравномерно поделили ее с политически немощным классом отверженных (некоренных) бизнесменов: ливанских, индийских и арабских в колониальной Африке, китайских, индийских и арабских в колониальной Азии. Столь же широко считается, что авангардная роль интеллигенции вытекала из ее двуязычной грамотности, или, скорее, грамотности и двуязычия. Книжная грамотность создавала возможность воображаемого сообщества, плывущего в гомогенном, пустом времени, о котором мы ранее говорили. А двуязычие через европейский государственный язык открывало доступ к современной западной культуре, в предельно широком смысле, и, в частности, к тем моделям национализма, национальности и национального государства, которые были произведены в течение XIX в.[292]

В 1913 г. голландский колониальный режим Батавии по указанию из Гааги организовал в колонии помпезные всенародные торжества, посвященные столетию «национального освобождения» Нидерландов от французского империализма. Были отданы распоряжения обеспечить физическое участие и финансовые пожертвования, причем не только со стороны местных голландских и евразийских сообществ, но и со стороны поработанного коренного населения. В знак протеста один из первых яванско-индонезийских националистов Суварди Сурьянинграт (Ки Хаджар Деванторо) поместил в газете, издаваемой на голландском языке, свою знаменитую статью «Als ik eens Nederlander was» («Если бы я на мгновение стал голландцем»).

“ «По моему мнению, будет неуместно и даже как-то неприлично, если мы (я ведь все-таки в моем воображении голландец) пригласим местных жителей присоединиться к торжеству, посвященному нашей независимости. Во-первых, мы заденем их тонкие чувства, потому что отмечаем нашу независимость здесь, в их родной стране, которую мы поработили. В этот торжественный момент мы очень счастливы оттого, что столетие назад освободились от иностранного господства; но все это происходит на глазах у тех, над кем до сих пор господствуем мы. Разве не приходит нам в голову, что эти бедные рабы тоже с нетерпением ждут такого же момента, как этот, когда они так же, как и мы, смогут отметить свою независимость? Или, может, из-за нашей разрушающей душу политики мы стали считать все человеческие души мертвыми? Если мы и впрямь так считаем, то мы

обманываем самих себя, ибо сколь бы примитивным ни было сообщество, оно возражает против любого типа угнетения. Будь я голландцем, я не стал бы устраивать торжества по случаю независимости в стране, где независимость у народа была украдена»[293].

Этими словами Суварди сумел обратить голландскую историю против самих голландцев, выставив на всеобщее обозрение сварной шов, соединяющий голландский национализм с империализмом. Кроме того, своим мнимым превращением в тогдашнего голландца (приглашающим голландских читателей превратиться в ответ в тогдашних индонезийцев) он подорвал все расистские фатальности, лежавшие в основе голландской колониальной идеологии[294].

Залп критики со стороны Суварди — доставивший его индонезийской аудитории столько же удовольствия, сколько голландской раздражения — служит показательным примером всемирного явления, характерного для XX в. Ведь парадокс имперского официального национализма как раз в том и состоял, что он неизбежно внедрял в сознание колонизированных то, о чем все больше мыслили и писали как о европейских «национальных историях», причем делал это не только через случайные бестолковые празднества, но и через лекционные залы и школьные аудитории[295]. Вьетнамская молодежь не могла избежать изучения philosophes, Революции и того, что Дебре называет «нашим извечным антагонизмом с Германией»[296]. В школы на просторах всей Британской империи проникли «Великая хартия вольностей», «Прародительница парламентов» и «Славная Революция», толкуемые как английская национальная история. Борьба Бельгии за независимость от Голландии не могла пройти мимо школьных учебников, которые в один прекрасный день прочли конголезские дети. Так же обстояло дело с историей США на Филиппинах и, наконец, с португальской историей в Мозамбике и Анголе. Ирония тут, разумеется, в том, что эти истории писались исходя из историографического сознания, которое к началу XX в. по всей Европе стало определяться в национальных категориях. (Бароны, навязавшие Иоанну Плантагенету Великую хартию, не говорили «по-английски» и не мыслили себя «англичанами», но 700 лет спустя в школьных классах Соединенного Королевства были незыблемо определены как первые патриоты.)

Между тем, у националистической интеллигенции, которая рождалась в колониях, есть одна характерная черта, в некоторой степени отличающая ее от вернакуляризирующих националистических интеллигенций Европы XIX в. Они почти всегда были молодыми и придавали своей молодости сложную политическую значимость. Эта значимость, хотя и изменилась со временем, остается важной по сей день. Рождение (современного/организованного) бирманского национализма часто датируется созданием в Рангуне в 1908 г. Буддистской ассоциации молодежи, а малайского — основанием в 1938 г. Кесатуан Мелайю Муда (Союза молодой Малайи). Индонезийцы ежегодно отмечают день Сумпах Пемуда (Клятвы молодежи), которая была составлена и принята в 1928 г. националистическим молодежным конгрессом. И так далее. Правда, Европа в некотором смысле и тут всех опередила, если припомнить «Молодую Ирландию», «Молодую Италию» и т. д. И в Европе, и в колониях слова «молодой» и «молодость» обозначали динамизм, прогресс, идеализм самопожертвования и революционную волю. Но в Европе слово «молодой» не имело почти никаких определенных социологических контуров. Можно было

достигнуть среднего возраста и вместе с тем быть членом «Молодой Ирландии»; можно было быть неграмотным и все-таки принадлежать к «Молодой Италии». Причина была, разумеется, в том, что языком этих национализмов был либо родной разговорный язык, к которому члены этих организаций имели устный доступ еще с колыбели, либо, как в случае Ирландии, язык метрополии, который за многие столетия завоевания пустил в разных сегментах населения настолько глубокие корни, что тоже мог проявить себя, по-креольски, как родной язык. Иначе говоря, между языком, возрастом, классом и статусом не было никакой необходимой связи.

В колониях дело обстояло совершенно иначе. Под молодежью имелось в виду прежде всего первое поколение людей, многие представители которого получили европейское образование, отличающее их в языковом и культурном отношении от поколения их родителей, а также от огромной массы их колонизированных сверстников (сравните со случаем Б. Ч. Пала). Бирманская «англоязычная» организация БСМЛ (Бирманский союз молодых людей), смоделированная отчасти по образцу Христианского союза молодых людей (YMCA), была создана школьниками, читавшими по-английски. В Нидерландской Индии мы находим, среди прочего, Jong Java (Молодую Яву), Jong Ambon (Молодую Амбоину) и Jong Islamietenbond (Лигу молодых мусульман) — названия, непонятные всякому молодому местному жителю, не знакомому с колониальным языком. В колониях, стало быть, под «Молодежью» мы имеем в виду «Образованную Молодежь», по крайней мере вначале. Это, в свою очередь, еще раз напоминает нам о той уникальной роли, которую сыграли в развитии колониальных национализмов колониальные системы школьного образования[297].

Случай Индонезии дает нам удивительно тонкую иллюстрацию этого процесса, не в последнюю очередь в силу ее необычайно большого размера, огромного населения (даже в колониальные времена), географической раздробленности (около 3 тыс. островов), религиозной пестроты (мусульмане, буддисты, католики, различного рода протестанты, баийцы-индуисты и «анимисты») и этноязыкового разнообразия (свыше 100 обособленных групп). Кроме того, как можно увидеть из ее гибридного псевдогреческого названия, ее территориальная протяженность даже отдаленно не соответствует какой бы то ни было доколониальной области; напротив, по крайней мере до жестокого вторжения генерала Сухарто в 1975 г. в бывший португальский Восточный Тимор ее границы оставались теми же, которые были оставлены ей в наследство последними голландскими завоеваниями (1910).

Некоторые народы, живущие на восточном побережье Суматры, не только близки по физическим характеристикам к живущим по ту сторону узкого Малаккского пролива народностям западного побережья Малайского полуострова, но и связаны с ними этнически: они понимают речь друг друга, имеют общую религию и т. д. Эти же самые жители Суматры не имеют ни общего родного языка, ни общей этничности, ни общей религии с амбонцами, живущими на островах, расположенных в тысячах миль восточнее. Тем не менее, в течение этого столетия они стали воспринимать амбонцев как братьев-индонезийцев, а малайцев — как иностранцев.

Ничто так не способствовало этому соединению, как школы, которые с начала нашего века создавались во все большем количестве режимом Батавии. Чтобы увидеть, почему это

произошло, необходимо помнить, что — в полную противоположность традиционным, туземным школам, которые всегда были локальными и личными предприятиями (даже если, в добрых мусульманских традициях, происходили массивные горизонтальные перемещения учащихся от одного учителя-уламы, пользующегося особенно хорошей репутацией, к другому), — государственные школы формировали огромную, в высокой степени рационализированную и крайне централизованную иерархию, аналогичную по своей структуре государственной бюрократии. Единообразные учебники, стандартизированные дипломы и сертификаты на право преподавания, строго регламентированная градация возрастных групп[298], классов и педагогических материалов сами по себе создавали самодостаточный, внутренне согласованный мир опыта. Однако не менее важна была география этой иерархии. Стандартизированные начальные школы сосредоточились в деревнях и небольших городах колонии; неполные и полные средние школы — в более крупных городах и провинциальных центрах; а высшее образование (вершина пирамиды) — в границах колониальной столицы Батавии и города Бандунга, построенного голландцами в 100 милях к юго-западу от нее на прохладной Прианганской возвышенности. Таким образом, колониальная школьная система XX в. вызывала к жизни паломничества, аналогичные давно установившимся путешествиям функционеров. Для этих паломничеств Римом, в который вели все дороги, была Батавия: не Сингапур, не Манила, не Рангун и даже не старые столицы Яванского королевства Джокьякарта и Суракарта[299]. Со всех уголков обширной колонии — но ни в коем случае не извне ее — совершали свое внутреннее восхождение юные пилигримы, встречая на своем пути в начальной школе собратьев-паломников из разных (возможно, враждовавших в прошлом) деревень, в средней школе — из разных этноязыковых групп, а в столичных институтах высшего образования — из всех частей государства[300]. И они знали, что откуда бы они ни были родом, все они читали одни и те же книги и решали одни и те же арифметические задачи. Кроме того, они знали, пусть даже не добираясь до конечного пункта — а большинство до него так и не добиралось, — что все дороги ведут в Батавию и что все эти путешествия черпают свой «смысл» в столице, объясняющей в конечном счете, почему «мы» «здесь» «вместе». Иначе говоря, их общий опыт и дружелюбно-сосязательное товарищество в школьном классе придавали картам колонии, которые они изучали (где она всегда была окрашена иначе, чем британская Малайя или американские Филиппины), территориально конкретную воображаемую реальность, ежедневно подтверждаемую акцентами и физиономиями их одноклассников[301].

Но кто они были все вместе? У голландцев было на этот счет вполне определенное представление: на каком бы родном языке те ни говорили, они непоправимо оставались *inlanders*. Это слово, подобно английскому *natives* и французскому *indigènes*, всегда несло в себе непреднамеренно парадоксальную семантическую нагрузку[302]. В этой, как и любой другой, отдельной колонии оно предполагало, что люди, к которым оно применялось, были одновременно «низшими» и «здешними» (в точности как голландцы, будучи «исконными жителями» Голландии, были «здешними» там). И наоборот, с помощью такого языка голландцы наделяли себя, наряду с превосходством, «нездешностью». Еще это слово предполагало, что *inlanders* в силу своего общего низшего положения были все одинаково достойны презрения, независимо от того, уроженцами какой этноязыковой группы или класса они были. Тем не менее, даже это жалкое равенство условий было заключено в определенный периметр. Ибо коренной уроженец всегда задавал вопрос: «коренной

уроженец чего?» Даже если голландцы иногда и высказывались в том духе, что *inlanders* — категория всемирная, опыт показывал, что на практике такое представление вряд ли способно было закрепиться. Область обитания коренных уроженцев ограничивалась нарисованными на карте очертаниями окрашенной колонии. За этими границами были, в зависимости от обстоятельств, «туземцы», *natives*, *indigènes* или *indios*. Более того, в колониальной правовой терминологии была еще и категория *vreemde oosterlingen* (иноземные жители Востока), окруженная двусмысленным ореолом ложного понятия — как будто бы были «иноземные коренные жители». Такие «иноземные жители Востока», в основном китайцы, арабы и японцы, хотя и могли жить в колонии, имели более высокий политико-правовой статус, чем «исконные коренные жители». Кроме того, крошечная Голландия была достаточно сильно напугана экономической силой и военным мастерством олигархов Мэйдзи, а потому с 1899 г. законодательно присвоила японцам, проживавшим в колонии, звание «почетных европейцев». Из всего этого в процессе исключения белых, голландцев, китайцев, арабов, японцев, *natives*, *indigènes* и *indios* рождался благодаря своего рода осаждению *inlander*, который все более наполнялся конкретным содержанием — пока вдруг не превратился, подобно созревшей гусенице, в великолепную бабочку, именуемую «индонезиец».

Хотя, по правде говоря, понятия *inlander* и *native* никогда не могли по-настоящему стать обобщенными расистскими понятиями, всегда предполагая укорененность в некоторой особой среде обитания[303], случай Индонезии не должен привести нас к выводу, что у каждой такой «исконной» среды обитания были predeterminedенные или непреложные границы. Два примера покажут нам прямо противоположное: Французская Западная Африка и Французский Индокитай.

В пик своей славы *Ecole Normale William Ponty* в Дакаре, несмотря на то, что была всего лишь обычной средней школой, стала вершиной колониальной образовательной пирамиды Французской Западной Африки[304]. В школу Вильяма Понти съезжались способные ученики из мест, которые мы знаем сегодня как Гвинею, Мали, Берег Слоновой Кости, Сенегал и т. д. А потому нас не должно удивлять, что паломничества этих мальчиков, завершающиеся в Дакаре, были с самого начала истолкованы во французско-[западно]-африканских категориях, незабываемым символом которых стало парадоксальное понятие *négritude* — квинтэссенция африканскости, выражимая лишь во французском языке, языке школьных классов Вильяма Понти. И все же вершинное положение школы Вильяма Понти было случайным и преходящим. По мере того как во Французской Западной Африке строилось все больше средних школ, у одаренных мальчиков отпадала необходимость в совершении такого дальнего паломничества. И уж во всяком случае, образовательная центральность школы Вильяма Понти никогда не сопровождалась сопоставимой административной центральностью Дакара. Взаимозаменяемость французско-западноафриканских мальчиков на ученических скамьях в школе Вильяма Понти не была подкреплена их последующей бюрократической заменимостью во французско-западноафриканской колониальной администрации. Поэтому выпускники школы возвращались домой, чтобы стать там со временем гвинейскими или малийскими националистическими лидерами, в то же время сохраняя «западноафриканское» товарищество и солидарность, которые оказывались потеряны для последующих поколений[305].

Почти таким же образом и курьезный гибрид «Индокитай» имел для одного поколения сравнительно высокообразованных юношей вполне реальное и переживаемое воображенное значение[306]. Напомним, что это образование было юридически провозглашено лишь в 1887 г., а свою окончательно сложившуюся территориальную форму обрело лишь в 1907 г., хотя активное французское вмешательство в этом регионе началось столетием раньше.

Вообще говоря, образовательная политика, проводимая колониальными правителями «Индокитая», преследовала две основные цели[307]; и обе они, как оказалось, внесли свой вклад в становление «индокитайского» сознания. Первой было разрушение существующих политико-культурных связей между колонизированными народами и соседним внеиндокитайским миром. В случае «Камбоджи» и «Лаоса»[308] мишенью был Сиам, который раньше в том или ином виде осуществлял над ними сюзеренитет и имел с ними общие ритуалы, институты и священный язык буддизма Хинаяны. (Вдобавок к тому, язык и письменность низовых лао были и остаются тесно связанными с языком и письменностью тайцев.) Руководствуясь именно этим интересом, французы впервые провели в этих областях, захваченных у Сиамом последними, эксперимент с так называемыми «обновленными школами при пагодах», призванными перетянуть кхмерских монахов и их учеников из орбиты тайского влияния в орбиту Индокитая[309].

В Восточном Индокитае (как я сокращенно называю «Тонкин», «Аннам» и «Кохинхину») аналогичной мишенью были Китай и китайская цивилизация. Хотя династии, правившие в Ханое и Хюэ, вели многовековую борьбу за независимость от Пекина, правили они все-таки посредством мандарината, скопированного с китайского образца. Вербовка людей в государственную машинерию была поставлена в зависимость от письменных экзаменов на знание конфуцианской классики; династические документы составлялись с помощью китайских иероглифов; вся культура правящего класса была насквозь китаизирована. Эти прочные вековые связи начали приобретать еще более нежелательный характер примерно после 1895 г., когда через северную границу колонии стали проникать сочинения таких китайских реформаторов, как Кан Ювэй и Лян Цичао, и таких националистов, как Сунь Ятсен[310]. Соответственно, в 1915 г. в «Тонкине», а в 1918 г. в «Аннаме» были последовательно отменены конфуцианские экзамены. Отныне вербовка на гражданскую службу в Индокитае стала производиться исключительно через каналы развивающейся французской колониальной системы образования. Кроме того, отныне стало сознательно поощряться quôc ngû (куок-нгы), романизированное фонетическое письмо, изобретенное в XVII в. иезуитскими миссионерами[311] и уже в 60-е годы XIX в. принятое властями для использования в «Кохинхине». Оно призвано было разрушить связи с Китаем, а также, возможно, и с коренным прошлым, сделав недоступными для нового поколения колонизированных вьетнамцев династические хроники и древнюю литературу[312].

Второй целью образовательной политики было производство строго отмеренного числа индокитайцев, умеющих говорить и писать по-французски, которые выполняли бы роль политически надежной, благодарной и окултуренной коренной элиты, заполняя должностные вакансии в низших эшелонах колониальной бюрократии и крупных коммерческих предприятий[313].

Нам нет нужды вдаваться здесь в тонкости колониальной системы образования. Имея ввиду цели нашего исследования, ключевая особенность этой системы состояла в том, что она формировала единственную, пусть даже и неустойчивую, пирамиду, верхние этажи которой до середины 1930-х годов располагались исключительно на востоке. Например, единственные лицеи, финансируемые государством, находились вплоть до указанного времени в Ханое и Сайгоне; а единственный университет, работавший в Индокитае на протяжении всего довоенного колониального периода, располагался в Ханое, так сказать, «вниз по улице» от дворца генерал-губернатора[314]. В число покорителей этих вершин входили подданные этого французского владения, говорившие на всех основных местных языках: вьетнамском, китайском, кхмерском и лаосском (а также немало проживавших в колонии молодых французов). Для этих покорителей, прибывавших сюда, скажем, из Митхо, Баттамбанга, Вьентьяна и Виня, смыслом их встречи здесь должно было быть превращение в «индокитайцев», подобно тому, как многоязычное и многоэтническое студенчество Батавии и Бандунга должно было увидеть в себе «индонезийцев»[315]. Эта индокитайскость, хотя и была вполне реальна, тем не менее, была воображена небольшой группой, причем воображена ненадолго. Почему она оказалась такой недолговечной, в то время как индонезийскость сохранилась и пустила глубокие корни?

Во-первых, примерно с 1917 г. в колониальном образовании наметилась отчетливая перемена курса, и прежде всего это касается Восточного Индокитая. Реальное, неумолимо надвигающееся упразднение традиционной конфуцианской системы экзаменов все больше убеждало членов вьетнамской элиты в необходимости пристраивать детей в тамошние лучшие французские школы, дабы гарантировать им бюрократическое будущее. Возникшая в итоге конкуренция за места в немногочисленных хороших школах вызвала сильную реакцию среди *colons*[316], считавших, что эти школы по праву принадлежат прежде всего французам. Для решения этой проблемы колониальный режим создал отдельную подчиненную «франко-вьетнамскую» образовательную структуру, на низших ступенях которой делался особый акцент на преподавании вьетнамского куок-нгы (французский преподавался как второй язык, уже через посредство куок-нгы)[317]. Этот сдвиг в политике привел к двум взаимодополняющим результатам. С одной стороны, издание государством сотен тысяч учебников на куок-нгы значительно ускорило распространение этой изобретенной европейцами системы письма, непроизвольно способствуя ее превращению в период с 1920 по 1945 г. в массовое средство выражения вьетнамской культурной (и национальной) солидарности[318]. Ибо если к концу тридцатых годов грамоте были обучены всего 10 процентов вьетнамоязычного населения, то даже и такая доля была беспрецедентна в истории этого народа. Более того, эти грамотные люди, в отличие от конфуцианских ученых, горячо поддерживали быстрый рост своей численности. (Аналогичным образом, в «Камбодже» и «Лаосе», хотя и в более скромных масштабах, власти приветствовали печатание учебников для начальных классов на местных языках: сначала и главным образом с применением традиционных орфографий, а позднее и уже не так энергично — с применением латинизированных систем письма[319].) С другой стороны, эта политика имела следствием исключение некоренного вьетнамоязычного населения, проживавшего в Восточном Индокитае. В случае «кохинхинских» кхмер-кромцев она, соединившись с готовностью колониального режима разрешить им иметь «франко-кхмерские» начальные школы наподобие тех, создание которых поощрялось в Протекторате, способствовала переориентации их амбиций в обратном направлении — в

сторону Меконга. Таким образом, кхмер-кромские подростки, стремившиеся получить высшее образование в административной столице Индокитая (а немногие избранные — даже в метрополии Франции), все чаще выбирали обходной путь через Пномпень, а не столбовую дорогу через Сайгон.

Во-вторых, в 1935 г. Коллеж Сисоват в Пномпене был превращен в полноценный государственный лицей с таким же статусом, который имели существующие государственные лицеи Сайгона и Ханоя, и идентичной учебной программой. Хотя вначале, по традиции Коллежа, студенты в него набирались главным образом из местных китайско-кхмерских торговых семей и семей проживавших здесь вьетнамских функционеров, доля коренных кхмеров среди них неуклонно возрастала[320]. Вероятно, справедливо будет сказать, что с 1940 г. подавляющее большинство кхмероязычных подростков, получавших солидное французское среднее образование, получали его в опрятной и ухоженной колониальной столице, построенной колониалистами для Народомов.

В-третьих, в Индокитае не было реального изоморфизма между образовательными и административными паломничествами. Французы, не стесняясь, высказывали мнение, что хотя вьетнамцы не заслуживают доверия и отличаются жадностью, они все-таки заметно энергичнее и умнее «по-детски непосредственных» кхмеров и лаосцев. Соответственно, в Западном Индокитае они широко привлекали на службу вьетнамских функционеров[321]. Из 176000 вьетнамцев, проживавших в 1937 г. в «Камбодже» — которые составляли менее 1 процента 19-миллионного вьетнамоязычного населения колонии, но около 6 процентов всего населения Протектората, — сформировалась относительно преуспевающая группа, для которой, следовательно, Индокитай обладал весьма важным смыслом, так же как и для 50 тыс. вьетнамцев, отправленных до 1945 г. на работу в «Лаос». Они, а в их числе особенно функционеры, которых могли переставлять с места на место во всех пяти подразделениях колонии, вполне могли представить в воображении Индокитай как широкую сцену, на которой могла далее продолжиться их служба.

Гораздо труднее давалось такое воображение лаосским и кхмерским функционерам, хотя формально или законодательно делать всеиндокитайские карьеры им не запрещалось. Даже сравнительно более амбициозные юноши из 326-тысячного (1937) кхмер-кромского сообщества в Восточном Индокитае (которое представляло около 10 процентов всего кхмероязычного населения) сталкивались с тем, что на практике перспективы сделать карьеру за пределами «Камбоджи» были для них крайне ограничены. Таким образом, кхмеры и лао могли сидеть на одной скамье с вьетнамцами во франкоязычных средних и высших учебных заведениях Сайгона и Ханоя, но у них не было никаких шансов получить здесь в дальнейшем административные посты. Подобно юношам из Котону и Абиджана, учившимся в Дакаре, они были обречены возвращаться по окончании учебы в те «дома», границы которых были очерчены для них колониализмом. Иными словами, в то время как их образовательные паломничества влекли их в сторону Ханоя, их административные путешествия заканчивались в Пномпене или во Вьентьяне.

Благодаря этим противоречиям появилась группа кхмероязычных студентов, чья память сохранила впоследствии как первых камбоджийских националистов. Человек, которого можно с полным правом назвать «отцом» кхмерского национализма, Сон Нгок

Тхань, был (как видно из его вьетнамизированного имени) кхмер-кромцем, который получил образование в Сайгоне и в течение некоторого времени занимал в этом городе скромную судебную должность. В середине тридцатых он, однако, покинул этот «Париж» меконгской дельты, дабы искать более многообещающего будущего в ее «Блуа». Принц Сисоват Йутевонг учился в средней школе в Сайгоне, прежде чем отправиться на дальнейшую учебу во Францию. Вернувшись через 15 лет, после второй мировой войны, в Пномпень, он принимал участие в создании (Кхмерской) Демократической Партии, а в 1946–1947 гг. занимал пост премьер-министра. Его министр обороны Сонн Воеуннсай совершил практически те же самые путешествия. Хуй Кантхуль, демократический премьер-министр 1951–1952 гг., закончил в 1931 г. *école normale* в Ханое, после чего вернулся в Пномпень, где со временем занял должность преподавателя в Лицее Сисовата[322]. Возможно, наиболее примечательна среди всех фигура Иеу Коеуса, открывшего печальный список злодейски убитых кхмерских политических лидеров[323]. Родившись в провинции Баттамбанг в 1905 г., когда она еще управлялась из Бангкока, он посещал местную «обновленную школу при пагоде», после чего поступил в «индокитайскую» начальную школу в городе Баттамбанге. В 1921 г. он продолжил учебу в Коллеже Сисовата в столице Протектората, а затем — в *college de commerce* в Ханое, который закончил в 1927 г. лучшим в своем франкоязычном классе. Надеясь изучать химию в Бордо, он набрался смелости и сдал вступительные экзамены. Однако колониальное государство перекрыло ему выезд за границу. Он вернулся в родной Баттамбанг, где занялся фармацевтикой и продолжал ею заниматься даже после того, как Бангкок вернул себе в 1941 г. эту провинцию. После военного поражения Японии в августе 1945 г. он вновь появился в «Камбодже», на этот раз в роли демократического парламентария. Заслуживает внимания то, что он был в своем роде прямым потомком выдающихся филологов ранней Европы, ибо изобрел машинописную клавиатуру для кхмерского шрифта и опубликовал увесистый двухтомник «Феаса Кхмаэ» [Кхмерский язык], или, как обманчиво указывается на титульной странице издания 1967 г., «*La langue cambodgienne (Un essai d'étude raison-né)*» [324]. Однако впервые этот текст — сначала только 1-й том — вышел в свет в 1947 г., когда его автор был председателем Конституционного Собрания в Пномпене, а не в 1937 г., когда он прозябал в Баттамбанге, когда Лицей Сисовата еще не создал ни одного кхмероязычного лицея и когда Индокитай еще обладал своей эфемерной реальностью. К 1947 г. носители кхмерского языка — по крайней мере из «Камбоджи» — уже не посещали школьных занятий в Сайгоне и Ханое. На сцену выходило новое поколение, для которого «Индокитай» стал историей, а «Вьетнам» — теперь уже реальной и чужой страной.

Необходимо признать, что жестокие вторжения и завоевания XIX в., под началом правившей в Хюэ династией Нгуенов, оставили горький след в народной памяти кхмеров, в том числе в «Кохинхине», которым суждено было стать частью Вьетнама. Но подобные горькие чувства существовали и в Нидерландской Индии: у сунданцев — к яванцам; у батаков — к минангкабау; у сасаков — к балийцам; у тораджей — к бугам; у яванцев — к амбонцам, и т. д. Так называемая «федералистская политика», проводившаяся в 1945–1948 гг. грозным вице-генерал-губернатором Хубертусом ван Мооком с целью нанесения удара с фланга новорожденной Индонезийской Республике, была попыткой воспользоваться именно этими горькими чувствами[325]. Однако несмотря на половодье этнических восстаний, захлестнувших в 1950–1964 гг. почти все части независимой Индонезии, «Индонезия» все-таки выжила. Отчасти она выжила потому, что Батавия так до конца и осталась

образовательной вершиной, но не только поэтому. В известной степени это произошло потому, что политика колониальной администрации не изгоняла образованных сунданцев обратно в «Сундаленды», а батаков в их родные места, затерянные в горных районах Северной Суматры. Практически все основные этноязыковые группы к концу колониальной эпохи свыклись с мыслью о том, что есть сцена, охватывающая весь архипелаг, на которой для них предусмотрены определенные роли. А потому из восстаний 1950–1964 гг. только одно имело сепаратистские амбиции; все остальные имели состязательный характер и укладывались в рамки единой индонезийской политической системы[326].

Кроме того, нельзя упустить из внимания то любопытное обстоятельство, что к двадцатым годам нашего столетия вошел в стадию осознанного существования «индонезийский язык». То, как это произошло, настолько поучительно, что, видимо, заслуживает краткого отступления. Ранее уже говорилось, что управление ост-индскими территориями осуществлялось с помощью голландского языка лишь в очень ограниченной и незначительной степени. А разве могло быть иначе, если к тамошним своим завоеваниям голландцы приступили еще в начале XVII в., но до начала XX в. даже не предприняли серьезных попыток организовать изучение голландского языка для коренного населения? Вместо этого произошло медленное и по большей части непредусмотренное рождение странного государственного языка на базе древнего межостровного *lingua franca*[327]. Он получил название *dienstmaleisch* (возможно, «служебный малайский» или «административный малайский»). По типу он принадлежал к той же группе, что и «оттоманский» или «казенный немецкий», родившийся в многоязычных казармах империи Габсбургов[328]. К началу XIX в. он прочно закрепился в бюрократическом аппарате. Когда, начиная со второй половины XIX в., на сцену вышел во всей красе печатный капитализм, этот язык проник на рынок и в средства массовой информации. Если вначале им в основном пользовались китайские и евразийские газетчики и издатели, то в конце века его стали употреблять и коренные жители. *Dienst* [служебную] ветвь его фамильного древа вскоре забыли и заменили ее древним предком, существовавшим будто бы на островах Риау (важнейший среди которых с 1819 г. — возможно, к счастью для самого себя — стал британским Сингапуром). К 1928 г. этот язык, отшлифованный двумя поколениями городских писателей и читателей, был готов к тому, чтобы быть принятым Молодой Индонезией в качестве национального (националистического) языка *bahasa Indonesia* («бахаса индонезиа»). С тех пор он больше никогда не оглядывался в прошлое.

Тем не менее, индонезийский случай, сколь бы он ни был сам по себе интересен, не должен в конце концов привести нас к неверному заключению, что если бы Голландия была более крупной державой[329] и заявила сюда не в 1600 г., а в 1850, то национальным языком не мог бы стать в равной степени и голландский. Нет никаких оснований считать, что ганский национализм сколь-нибудь менее реален по сравнению с индонезийским просто потому, что его национальным языком является английский, а не ашанти. Всегда будет ошибкой трактовать языки так, как трактуют их некоторые националистические идеологии — а именно, как внешние символы национальности, стоящие в одном ряду с флагами, костюмами, народными танцами и прочим. Несоизмеримо важнее способность языка генерировать воображаемые сообщества и выстраивать в итоге партикулярные солидарности. В конце концов, имперские языки — это все-таки национальные языки, а, стало быть, особые национальные языки среди многих. Если радикальный Мозамбик говорит

по-португальски, то смысл этого заключается в том, что португальский язык является тем средством, с помощью которого Мозамбик представляется в воображении (и одновременно средством, ограничивающим его протяженность в сторону Танзании и Замбии). С этой точки зрения, употребление португальского языка в Мозамбике (или английского в Индии) по сути ничем не отличается от употребления английского в Австралии или португальского в Бразилии. Язык — это не инструмент исключения: каждый человек в принципе может овладеть каким угодно языком. Более того, язык по самой природе своей воссоединяет, и единственный предел этому воссоединению задается фатальностью Вавилона: никто не живет достаточно долго, чтобы освоить все языки. Печатный язык, а не партикулярный язык как таковой, изобретает национализм[330]. Единственный знак вопроса, который стоит в отношении таких языков, как португальский в Мозамбике и английский в Индии, это: могут ли административная и образовательная система, особенно последняя, породить достаточное с политической точки зрения распространение двуязычия? Тридцать лет назад почти не было индонезийцев, которые бы говорили на bahasa Indonesia как на своем родном языке; практически у каждого из них был свой собственный «этнический» язык, и лишь некоторые, особенно участники националистического движения, владели также bahasa Indonesia/dienstmaleisch. Сегодня, наверное, уже миллионы молодых индонезийцев из десятков этноязыковых сред говорят на индонезийском как своим родным языком.

Не ясно, сформируется ли через тридцать лет поколение мозамбикцев, говорящих только на мозамбикско-португальском. Однако сегодня, на исходе XX в., появление такого поколения уже не обязательно является *sine qua* поп мозамбикской национальной солидарности. Во-первых, прогресс технических средств коммуникации, особенно радио и телевидения, дает печати таких союзников, каких столетие назад у нее еще не было. Многоязычное вещание способно убедить своими чарами даже неграмотные народы и населения, говорящие на разных языках, в их воображаемой общности. (Здесь есть сходство с рождением в воображении христианского мира, которое происходило через визуальные репрезентации и двуязычное образованное сословие.) Во-вторых, национализмы XX в. имеют, как я доказывал, глубоко модульный характер. Они могут опираться и опираются на более чем полуторазековой человеческий опыт и три ранние модели национализма. Следовательно, националистические лидеры располагают возможностью сознательно внедрять гражданские и военные системы образования, скопированные с официальных национализмов, выборы, партийные организации и культурные торжества, скопированные с массовых национализмов Европы XIX в., и гражданско-республиканскую идею, впервые изобретенную Американами. Но прежде всего, сама идея «нации» прочно угнездилась ныне практически во всех печатных языках; а национальность стала практически неотделимой от политического сознания.

В мире, где всепреобладающей нормой стало национальное государство, все это означает, что теперь нации могут представляться в воображении и при отсутствии языковой общности — не в наивном духе *nosotros los Americanos*, а на основе общего осознания того, возможность чего доказала современная история[331]. В этом контексте представляется уместным, завершая главу, вновь вернуться в Европу и коротко рассмотреть нацию, языковую разнородность которой столь часто использовали как дубину, предназначенную для побивания защитников языковых теорий национализма.

В 1891 г., в разгар юбилейных торжеств по случаю 600-й годовщины образования Конфедерации Швица, Обвальдена и Нидвальдена, швейцарское государство «постановило» считать 1291 г. датой «основания» Швейцарии[332]. Такое решение, ждать которого пришлось 600 лет, имеет ряд забавных сторон и уже само по себе предполагает, что швейцарский национализм характеризуется не древностью, а современностью. Хьюз берет на себя смелость и высказывает утверждение, что именно юбилейные торжества 1891 г. знаменуют рождение этого национализма, поясняя, что «в первой половине XIX в... проблема национальной государственности почти не обременяла просвещенные средние классы. Мадам де Сталь [1766–1817], Фюсли [1741–1825], Ангелика Кауфман [1741–1807], Сисмонди [1773–1842], Бенжамен Констан [1767–1830] — разве все они швейцарцы?»[333] Если запрашивается ответ «вряд ли», то значимость его определяется тем, что в первой половине XIX в. по всей Европе вокруг Швейцарии наблюдалось зарождение основанных на родном языке националистических движений, главную роль в которых играли «просвещенные средние классы» (так сказать, филологи + капиталисты). Отчего же в Швейцарию национализм пришел так поздно, и какие последствия имело это опоздание для ее окончательного формирования (в частности, для присущей ей тогда множественности «национальных языков»)?

В какой-то мере ответ кроется в молодости швейцарского государства, существование которого, как сухо замечает Хьюз, трудно проследить ранее 1813–1815 гг., «не погрешив так или иначе против истины»[334]. Он напоминает, что первое настоящее швейцарское гражданство, введение прямого избирательного права (для мужчин) и упразднение «внутренних» пошленных и таможенных зон стали достижениями Гельветической Республики, которая была насильственно создана французской оккупацией 1798 г. Лишь в 1803 г., с присоединением Тичино, в государство влилась значительная масса населения, говорящего по-итальянски. И лишь в 1815 г. оно получило от мстительно настроенного в отношении Франции Священного союза густонаселенные франкоязычные области Вале, Женеву и Невшатель в обмен на нейтралитет и предельно консервативную конституцию[335]. Таким образом, сегодняшняя многоязычная Швейцария — продукт начала XIX в.[336]

Вторым фактором была отсталость страны (которая, в сочетании с ее угрюмой топографией и отсутствием полезных ископаемых, помогла ей уберечься от поглощения более могущественными соседями). Сегодня, наверное, уже нелегко вспомнить, что до второй мировой войны Швейцария была страной бедной, с уровнем жизни в половину ниже английского, да к тому еще целиком сельскохозяйственной. В 1850 г. в районах, которые можно было более или менее назвать городскими, проживало только 6 % населения, и еще в 1920 г. эта цифра не превышала 27,6 %[337]. На протяжении всего XIX в. подавляющее большинство населения составляло немобильное крестьянство (исключением был лишь традиционный экспорт доблестных молодых людей в наемные армии и папскую гвардию). Страна была отсталой не только в экономическом отношении, но и в политическом и культурном. «Старая Швейцария», территория которой оставалась неизменной с 1515 до 1803 гг. и большинство жителей которой говорили на том или ином из многочисленных немецких говоров, находилась во власти неуклюжей коалиции кантональных аристократических олигархий. «Секретом долговечности Конфедерации была ее двойственная природа. Внешним врагам она противопоставляла достаточное единство

населявших ее народов. Внутренним мятежам она противопоставляла достаточное единство олигархий. Если бунтовали крестьяне — а они делали это приблизительно три раза в столетие, — различия отбрасывались в сторону, и правительства других кантонов, как правило, предоставляли свою помощь, выступая часто, хотя и не всегда, на стороне своего коллеги-правителя»[338]. За исключением отсутствия монархических институтов, картина мало чем отличается от той, которая наблюдалась в бесчисленных мелких княжествах Священной Римской империи, последним причудливым реликтом которых является находящийся на восточной границе Швейцарии Лихтенштейн[339].

Примечательно, что еще в 1848 г., спустя почти два поколения после появления швейцарского государства, древние религиозные расколы в политическом отношении гораздо больше бросались в глаза, чем языковые. Весьма примечательно, что на территориях, неизменно считавшихся вотчиной католиков, протестантизм был противозаконен, тогда как на территориях, считавшихся протестантскими, вне закона был католицизм; и эти законы строго проводились в жизнь. (Язык был делом личного выбора и удобства.) Лишь после 1848 г. под влиянием происходивших по всей Европе революционных переворотов и общего распространения вернакуляризирующих национальных движений язык занял место религии, и страна была сегментирована на четко обозначенные языковые зоны. (Теперь уже религия стала делом личного выбора[340].)

И наконец, упорное сохранение — в такой маленькой стране — огромного множества подчас взаимно непонятных немецких идиолектов говорит о позднем пришествии в основные массы швейцарского крестьянского общества печатного капитализма и стандартизированного современного образования. Таким образом, Hochsprache (печатный немецкий) имел до совсем недавнего времени такой же государственно-языковой статус, как и *ärarisch deutsch* или *dienstmaleisch*. Кроме того, Хьюз отмечает, что сегодня от чиновников «высокого ранга» ожидается практическое владение двумя федеральными языками; при этом предполагается, что от их подчиненных не ожидается наличия такой компетентности. Косвенно на это указывает и Федеральная директива 1950 г., в которой подчеркивается, что «образованные немцы-швейцарцы безусловно должны владеть французским языком, так же, как и образованные итальянцы-швейцарцы»[341]. В итоге мы имеем ситуацию, по сути мало чем отличающуюся от мозамбикской — двуязычный политический класс, уютно устроившийся над разнообразием одноязычных населений, — но с одним-единственным отличием: «второй язык» — это язык могущественного соседа, а не прежнего колониального правителя.

Тем не менее, если принять во внимание, что в 1910 г. для почти 73 % населения родным языком был немецкий, для 22 % — французский, для 4 % — итальянский и для 1 % — романшский диалект ретороманского языка (за истекшие десятилетия эти пропорции вряд ли изменились), то нас, возможно, удивит, что во второй половине XIX в. — в эпоху официальных национализмов — здесь не было предпринято попыток германизации. До 1914 г. прогерманские симпатии, безусловно, были сильны. Границы между Германией и немецкой Швейцарией были предельно прозрачными. Товары и инвестиции, аристократы и профессионалы довольно свободно пересекали их в обе стороны. Но, кроме того, Швейцария граничила с еще двумя ведущими европейскими державами, Францией и Италией, и политические риски германизации были очевидны. Юридическое равноправие немецкого,

французского и итальянского языков было, таким образом, лицевой стороной медали швейцарского нейтралитета[342].

Все приведенные выше сведения указывают на то, что швейцарский национализм легче всего понять как часть «последней волны». Если Хьюз прав, датируя его рождения 1891 г., то он оказывается всего-то на десятилетие старше бирманского или индонезийского. Иначе говоря, он родился в тот период всемирной истории, когда нация становилась международной нормой, а национальность можно было «моделировать» гораздо более сложным способом, чем раньше. Если консервативная политическая и отсталая социально-экономическая структура Швейцарии «оттянула во времени» подъем национализма[343], то тот факт, что ее досовременные политические институты были нединастическими и немонархическими, помог избежать эксцессов официального национализма (сравните со случаем Сиам, рассмотренным в главе 6). И наконец, как и в приведенных примерах из Юго-Восточной Азии, появление швейцарского национализма в канун коммуникационной революции XX столетия сделало возможной и практичной такую «репрезентацию» воображаемого сообщества, для которой уже не требовалось языкового единообразия.

В заключение стоит, возможно, еще раз сформулировать общую идею этой главы. «Последняя волна» национализмов, большинство из которых возникло в колониальных территориях Азии и Африки, была по своему происхождению ответом на глобальный империализм нового стиля, ставший возможным благодаря достижениям промышленного капитализма. Как неподражаемо сказал об этом Маркс, «потребность в постоянно увеличивающемся сбыте продуктов гонит буржуазию по всему земному шару»[344]. Однако, кроме того, капитализм — не в последнюю очередь благодаря распространению печати — способствовал появлению в Европе массовых национализмов, базирующихся на родных языках, которые в разной степени подрывали вековой династический принцип и толкали к самонатурализации каждую династию, которая была в состоянии это сделать. Официальный национализм — спайка нового национального и старого династического принципов (Британская империя) — вел, в свою очередь, к появлению в находящихся за пределами Европы колониях того, что можно для удобства назвать «русификацией». Эта идеологическая тенденция прочно переплеталась с практическими нуждами. Империи конца XIX в. были слишком велики и широки, чтобы ими могла управлять горстка националов. Более того, объединив усилия с капитализмом, государство стало быстро умножать как в метрополиях, так и в колониях число своих функций. Соединившись, эти силы породили «русифицирующие» системы школьного образования, нацеленные помимо всего прочего на производство требуемых исполнительских кадров для государственных и корпоративных бюрократий. Эти централизованные и стандартизированные школьные системы создавали совершенно новые паломничества, «Римы» которых располагались, как правило, в разных колониальных столицах, ибо нации, скрытые в ядре этих империй, не могли допустить восхождения паломников в самую их сердцевину. Обычно, хотя далеко не всегда, эти образовательные паломничества воспроизводились, или дублировались, в административной сфере. Совпадение конкретных образовательных и административных паломничеств создавало территориальную основу для новых «воображаемых сообществ», в

которых коренное население могло в какой-то момент увидеть себя «национальным». Экспансия колониального государства, которое, так сказать, приглашало «коренных жителей» в школы и офисы, и колониального капитализма, который, образно говоря, изгонял их из тех залов заседаний, где принимались решения, привела к тому, что первым главным глашатаем колониального национализма стала бесконечно одинокая двуязычная интеллигенция, не связанная союзом с крепкой местной буржуазией.

Будучи, однако, интеллигенцией двуязычной и, прежде всего, интеллигенцией начала XX в., она в школьных классах и за их пределами имела доступ к тем моделям нации, национальности и национализма, которые выкристаллизовались из турбулентных и хаотичных опытов более чем вековой американской и европейской истории. Эти модели, в свою очередь, помогали придать форму тысячам рождающихся мечтаний. Уроки креольского, языкового и официального национализма, вступая в различные сочетания, копировались, адаптировались и совершенствовались. И наконец, пока капитализм со все более возрастающей скоростью преобразовывал средства физической и интеллектуальной коммуникации, интеллигенция стала находить способы, не прибегая к помощи печати, убедительно внушать веру в воображаемую общность не только неграмотным массам, но даже и грамотным массам, читающим на разных языках.

8. Патриотизм и расизм

В предыдущих главах я попытался обозначить процессы, посредством которых нация стала представляться в воображении, а будучи таким образом представленной, моделироваться, адаптироваться и трансформироваться. При таком анализе внимание неизбежно было сосредоточено в первую очередь на социальном изменении и различных формах сознания. Однако сомнительно, чтобы социальное изменение или трансформированное сознание сами по себе могли исчерпывающим образом объяснить, почему народы так привязаны к продуктам своего воображения, или — если вспомнить вопрос, поставленный в начале этого текста, — почему люди готовы отдать жизнь за эти изобретения.

В эпоху, когда прогрессивные интеллектуалы-космополиты (не в Европе ли особенно?) привыкли настаивать, что национализм — чуть ли не патология, что он коренится в страхе перед Другим и в ненависти к нему, что он сродни расизму[345], полезно напомнить себе о том, что нации внушают любовь, причем нередко до основания пропитанную духом самопожертвования. Культурные продукты национализма — поэзия, художественная проза, музыка, пластические искусства — предельно ясно изображают эту любовь в тысячах всевозможных форм и стилей. С другой стороны, насколько редко на самом деле встречаются аналогичные националистические продукты, выражающие страх и ненависть![346] Даже если у колонизированных народов есть все основания испытывать ненависть к своим империалистическим правителям, поражает, насколько незначителен элемент ненависти в выражении их национального чувства. Возьмем для примера первую и последние строфы «Ultimo Adiós», знаменитого стихотворения, написанного Рисалем в ожидании смертной казни от рук испанского империализма:

11. Adiós, Patria adorada, región del sol querida,
Perla del Mar de Oriente, nuestro perdido edén,
A darte voy, alegre, la triste mustia vida;
Y fuera más brillante, más fresca, más florida,
También por ti la diera, la diera por tu bien...

12. Entonces nada importa me pongas en olvido:
Tu atmósfera, tu espacio, tus valles cruzaré;
Vibrante y limpia nota seré par tu oído;
Aroma, luz, colores, rumor, canto, gemido,
Constante repitiendo la esencia de mi fe.

13. Mi Patria idolatrada, dolor de mis dolores,
Querida Filipinas, oye el postrer adiós.
Ahí, te dejo todo: mis padres, mis amores.
Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores;
Donde la fe no mata, donde el que reina es Dios.

14. Adiós, padres y hermanos, trozos del alma mía,
Amigos de la infancia, en el perdido hogar,
Dad gracias, que descanso del fatigoso día;
Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría;
Adiós, queridos seres. Morir es descansar[347].

Обратите внимание, что не только национальность «палачей» здесь не названа, но и пламенный патриотизм Рисаля великолепно выражается на «их» языке[348].

В какой-то степени природу этой политической любви можно вычитать из того, как языки описывают ее объект: это либо лексика родства (родина, Vaterland, patria), либо лексика родного дома (heimat или tanah air [«земля и вода»; выражение, обозначающее у индонезийцев родной архипелаг]). Обе идиомы обозначают нечто такое, с чем человек от природы связан. Как мы видели ранее, во всем, что «дано от природы», всегда есть нечто не выбираемое. Тем самым национальность уподобляется цвету кожи, полу, родословной или эпохе, в которую довелось родиться, т. е. всему тому, что не дано изменить. И в этих «природных узах» человек ощущает то, что можно было бы назвать «прелестью gemeinschaft[349]». Иначе говоря, именно потому, что эти узы не выбирают, они и окружены ореолом бескорыстной преданности.

Несмотря на то, что в последние два десятилетия в литературе активно обсуждалась идея семьи-как-артикулированной-властной-структуры, основной массе людей такое представление определено чуждо. Скорее, семья традиционно мыслилась как царство бескорыстной любви и солидарности. Так же и с идеей «национального интереса»: в то время как историки, дипломаты, политики и социальные ученые легко оперируют этим понятием, для большинства обычных людей, к какому бы классу они ни принадлежали, самая суть нации состоит в том, что в нее не вкладывается никакого корыстного интереса. Именно поэтому она и может требовать жертв.

Как уже отмечалось, великие войны нашего столетия отличаются от всех прочих не столько беспрецедентными масштабами, в которых они позволили людям убивать, сколько колоссальной численностью людей, готовых отдать свои жизни. Разве не очевидно, что число убитых намного превосходило число тех, кто убивал? Идея высшей жертвы приходит только с идеей чистоты, только через фатальность.

Смерть за Родину, которую обычно не выбирают, приобретает такое моральное величие, с которым не может сравниться смерть за Лейбористскую партию, Американскую медицинскую ассоциацию или, даже скажем, за «Международную амнистию», ибо это такие организации, куда можно по собственной воле войти и откуда можно по собственной воле выйти. Смерть за революцию тоже черпает свое величие в той степени, в какой ее воспринимают как нечто изначально чистое. (Если бы люди представляли пролетариат просто как группу, страстно жаждущую холодильников, праздников или власти, то насколько бы они, в том числе и сами члены пролетариата, были готовы отдать за нее жизнь?[350]) Смех смехом, но, может быть, в той мере, в какой марксистские толкования истории воспринимаются (правда, не интеллектом) как заявления о непреложной необходимости, они тоже приобретают ауру чистоты и бескорыстия.

Здесь нам, наверное, было бы полезно вновь вернуться к языку. Во-первых, обращает на себя внимание изначальная данность языков, причем даже тех, которые мы знаем как современные. Никто не может сказать, когда тот или иной язык родился. Каждый смутно проявляется из бесконечного прошлого. (Поскольку *homo sapiens* есть *homo dicens*, кажется, трудно даже вообразить, что язык мог появиться позже нашего биологического вида.) Таким образом, языки в нынешних обществах оказываются укоренены глубже, чем что бы то ни было. В то же время ничто, как язык, не связывает нас эмоционально с умершими. Когда люди, говорящие по-английски, слышат слова «*Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust*»[351], сказанные почти четыре с половиной столетия тому назад, они получают призрачное ощущение одновременности наперекор гомогенному, пустому времени. Весомость этих слов лишь частично вытекает из их возвышенного смысла; она также вытекает из их как бы прототипической «английскости».

Во-вторых, есть особый род общности современников, создаваемый одним только языком — прежде всего в форме поэзии и песен. Возьмем для примера исполнение государственных гимнов по случаю государственных праздников. Как бы ни были банальны слова и заурядны музыкальные звучания, в этом пении есть переживание одновременности. Именно в такие мгновения люди, совершенно друг другу незнакомые, произносят одни и те же стихи под одну и ту же мелодию. Образ: пение в унисон[352]. Пение «Марсельезы», «Вальса Матильды» или «Индонезия Райа» дает повод для унисонного соединения голосов, для отдающегося эхом физического осуществления воображенного сообщества. (То же самое происходит, когда люди слушают декламацию церемониальной поэзии, например, разделов из «Книги общей молитвы» [и, быть может, чуть слышно одновременно их повторяют].) Насколько бескорыстным выглядит это пение в унисон! Когда мы сознаем, что другие поют эти песни точно тогда же, когда и мы, и точно так же, как мы, у нас нет ни малейшего представления о том, кто такие эти люди и даже где — за пределами нашей слышимости — они поют. Ничто не связывает всех нас, кроме воображаемого звука.

Тем не менее, такие хоры соединимы во времени. Если я латыш, то моя дочь может быть австралийкой. Сын итальянского иммигранта, поселившегося в Нью-Йорке, найдет своих предков в отцах-пилигримах. Если национальность и окружена аурой фатальности, то все-таки это фатальность, укорененная в истории. Показателен в этом отношении указ Сан-Мартина, окрестивший индейцев, говорящих на языке кечуа, «перуанцами» (жест, имеющий черты сходства с религиозным обращением). Ибо он показывает, что первоначально нация усматривалась в общности языка, а не крови, и что человека можно было «пригласить» в воображаемое сообщество. Так и сегодня даже самые закрытые нации принимают принцип натурализации (слово-то какое!), вне зависимости от того, насколько трудно осуществимой на практике они ее делают.

Будучи как исторической фатальностью, так и воображенным через язык сообществом, нация преподносит себя как нечто в одно и то же время открытое и закрытое. Прекрасной иллюстрацией этого парадокса служат сдвигающиеся ритмы в знаменитых строках, написанных на смерть Джона Мура в битве при Корунье[353]:

1. Not a drum was heard, not a funeral note,
As his corse to the rampart we hurried;

Not a soldier discharged his farewell shot
O'er the grave where our hero we buried.

2. We buried him darkly at dead of night,
The sods with our bayonets turning;
By the struggling moonbeams' misty light,
And the lantern dimly burning.

3. No useless coffin enclosed his breast,
Not in sheet or in shroud we wound him;
But he lay like a warrior taking his rest,
With his martial cloak around him

5. We thought, as we hollowed his narrow bed,
And smoothed down his lonely pillow,
That the foe and the stranger would tread o'er his head
And we far away on the billow

8. Slowly and sadly we laid him down.
From the field of his fame fresh and gory;
We carved not a line, and we raised not a stone —
But we left him alone with his glory!

[1. Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным огнем
Мы в недра земли опустили.

2. И бедная почестъ к ночи отдана;
Штыками могилу копали;
Нам тускло светила в тумане луна,
И факелы дымно сверкали.

3. На нем не усопших покров гробовой,
Лежит не в дощатой неволе —
Обернут в широкий свой плащ боевой,
Уснул он, как ратники в поле.

5. Быть может, наутро внезапно явясь,
Враг дерзкий, надменности полный,
Тебя не уважит, товарищ, а нас
Умчат невозвратные волны.

8. Прости же товарищ! Здесь нет ничего
На память могилы кровавой;
И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.][354]

В этом стихотворении героическая память воспевается с красотой, неотделимой от английского языка — непереводимой, слышимой только теми, кто на нем говорит и читает (хотя и сам Мур, и воспевший его поэт были ирландцами). И нет ничего, что могло бы помешать какому-нибудь потомку французских или испанских «врагов» Мура услышать в полной мере звучание этого стихотворения: английский язык, как и любой другой, всегда открыт для новых говорящих, слушателей и читателей.

Прислушайтесь к Томасу Брауну, схватывающему в паре предложений всю глубину и широту человеческой истории:

“ «Even the old ambitions had the advantage of ours, in the attempts of their vainglories, who acting early and before the probable Meridian of time, have by this time found great accomplishment of their designs, whereby the ancient Heroes have already out-lasted their Monuments, and Mechanicall preservations. But in this latter Scene of time we cannot expect such Mummies unto our memories, when ambition may fear the Prophecy of Elias, and Charles the Fifth can never hope to live within two Methuselah's of Hector».

«Даже старые амбиции возобладали над нашими в дерзаниях этих честолюбцев, которые, действуя загодя и не дожидаясь пришествия вероятного Меридиана времени, нашли к этому времени великое воплощение своих замыслов, в силу чего древние Герои уже давно пережили свои Памятники и Механические сохранения. Но в этой последней Сцене времени мы не можем ждать, пока такие Мумии нагрянут в наши воспоминания, теперь, когда честолюбие, возможно, страшится Пророчества Илии, а Карл Пятый уже не может надеяться поселиться в двух Мафусаилах Гектора»[355].

Здесь древние Египет, Греция и Иудея сливаются в одно со Священной Римской империей, но их объединение, происходящее вопреки тысячам лет и тысячам миль, которые их разделяют, осуществляется в партикулярности брауновской английской прозы XVII в.[356] Эту выдержку можно, конечно, дословно перевести. Но ужасающее великолепие выражений «probable Meridian of time» [вероятный Меридиан времени], «Mechanicall preservations» [Механические сохранения], «such Mummies unto our memories» [такие Мумии... в наши воспоминания] и «two Methuselah's of Hector» [два Мафусаила Гектора] может вызвать мурашки только у английских читателей.

На этой странице оно в полной мере открывается перед читателем. В свою очередь, не менее мрачное великолепие финальных строк рассказа «Yang sudah hilang» [«То, что прошло»] великого индонезийского писателя Прамудьи Ананта Тура:

“ Suara itu hanya terdengar beberapa detik saja dalam hidup. Getarannya sebentar berdentung, takkan terulangi lagi. Tapi seperti juga halnya dengan kali Lusi yang abadi menggarisi kota Blora, dan seperti kali itu juga, suara yang tersimpan

menggarisi kenangan dan ingatan itu mengalir juga — mengalir kemuaranya, kelaut yang tak bertepi. Dan tak seorangpun tahu kapan laut itu akan kering dan berhenti berdeburan.

Hilang.

Semua itu sudah hilang dari jangkauan panc[h]a-indera»[357], —

на той же печатной странице, скорее всего, перед нами закрывается[358].

Хотя каждый язык и можно усвоить, его усвоение требует от человека затраты вполне реальной части его жизни: каждое новое завоевание отмеряется убыванием его дней. Доступ человека к другим языкам ограничивается не их непроницаемостью, а его смертностью. Отсюда свойственная всем языкам некоторая закрытость, французские и американские империалисты много лет управляли вьетнамцами, эксплуатировали их, убивали. Но что бы они ни пытались у них отобрать, вьетнамский язык как был, так и оставался. Отсюда проистекали, соответственно, и слишком часто проявляемая ярость в отношении вьетнамской «непостижимости», и то смутно осязаемое отчаяние, из которого рождаются ядовитые жаргоны умирающих колониализмов: «gooks» [англ. «мразь», «болваны»], «ratons» [фр. «крысятники»], и т. д.[359] (В конце концов, единственным ответом на неохватную тайну языка угнетенных становится либо бегство, либо продолжение массового уничтожения.)

Такие эпитеты по своей внутренней форме являются типично расистскими, и расшифровка этой формы поможет показать, почему Нейрн глубоко заблуждается, утверждая, что расизм и антисемитизм вытекают из национализма — и что, стало быть, «фашизм, при достаточно глубоком историческом рассмотрении, расскажет о национализме больше, чем любой другой эпизод истории»[360]. Например, такое слово, как «slant» [англ. презр. «косоглазый», «косой»], образованное путем сокращения от выражения «slant-eyed» [«с косым разрезом глаз»], не просто выражает обычную политическую враждебность. Оно стирает национальную принадлежность, редуцируя другого к его биологической физиогномике[361]. Оно отрицает посредством замещения «вьетнамское» так же, как слово «raton» отрицает посредством замещения «алжирское». В то же самое время это слово сгребает «вьетнамское» в одну безымянную кучу с «корейским», «китайским», «филиппинским» и т. д. Характер этой лексики, возможно, станет еще более очевидным, если сравнить ее с другими словами времен вьетнамской войны, такими, как «Charlie» [амер. сленг. «хозяин», «белый человек»] и «V. С.» [амер. сокр. «Вьет Конг»], или такими словами прошедшей эпохи, как «боши», «гансы», «япошки» и «лягушатники», каждое из которых применяется только в отношении какой-то одной конкретной национальности и тем самым допускает — с ненавистью — членство врага в содружестве наций[362].

Суть дела в том, что национализм мыслит категориями исторических судеб, тогда как расизму видится вечная зараза, передаваемая из глубины веков через бесконечную череду отвратительных совокуплений: т. е. вне истории. Ниггеры, в силу присутствия в них незримой негритянской крови, всегда остаются ниггерами; а евреи, семя Авраамово, всегда остаются евреями, и неважно, какие паспорта они носят и на каких языках говорят и

читают. (Поэтому, например, для нацистов немец еврейской национальности всегда был самозванцем[363].)

На самом деле, видения расизма имеют свои истоки в идеологиях класса, а не нации: и прежде всего, в претензиях правителей на божественность и в притязаниях аристократий на «голубую» или «белую» кровь и «породу»[364]. Но тогда неудивительно, что предполагаемым отцом современного расизма было суждено стать не какому-то мелкобуржуазному националисту, а графу Жозефу Артюру де Гобино[365]. Равно как неудивительно и то, что расизм и антисемитизм проявляют себя в целом не поверх государственных границ, а внутри них. Иначе говоря, они оправдывают не столько внешние войны, сколько внутренние репрессии и господство[366].

Там, где в XIX в. за пределами Европы развился расизм, он всегда был связан с европейским господством, причем по двум взаимосвязанным причинам. Первой и самой важной причиной был подъем официального национализма и политики колониальной «русификации». Как мы постоянно подчеркивали, обычно официальный национализм был ответом оказавшихся под угрозой исчезновения династических и аристократических групп — высших классов — на массовый национализм родного языка. Колониальный расизм стал основным элементом в концепции «Империи», попытавшейся спаять династическую легитимность и национальное сообщество. Эта спайка осуществлялась путем обобщения принципа неотъемлемого, прирожденного превосходства, на котором (пусть даже очень неустойчиво) базировалось внутреннее положение этих групп, и переноса его на обширные просторы заморских владений, скрыто (или не так уж скрыто) передававшего идею о том, что если, скажем, английские лорды и превосходят от природы других англичан, то все же эти другие англичане не меньше, чем они, превосходят подвластных туземцев. Здесь само собой напрашивается утверждение, что существование поздних колониальных империй в действительности служило укреплению внутренних аристократических бастионов, ибо они появились с тем, чтобы подтвердить на глобальном, современном этапе древние концепции власти и привилегированности.

Это стало возможно благодаря тому — и это вторая причина, — что колониальная империя с ее стремительно разраставшимся бюрократическим аппаратом и политикой «русификации» позволила огромному множеству буржуа и мелких буржуа играть роль аристократов за пределами центрального двора: т. е. повсюду в империи, за исключением собственного дома. В каждой колонии мы находим эту одновременно зловещую и забавную *tableau vivant*[367]: буржуазного аристократа, вслух декламирующего стихи на фоне просторных особняков и садов с благоухающими мимозами и бугенвиллиями, и огромную обслуживающую его касту слуг, конюхов, садовников, поваров, нянек, горничных, прачек и, прежде всего, лошадей[368]. Даже те, кому не удалось устроить себе жизнь в таком стиле (например, молодые бакалавры), получили, несмотря на это, предельно двусмысленный статус французского дворянина кануна крестьянской войны:

“ «В Моулмейне в Нижней Бирме [для читателей, живущих в метрополии, этот таинственный город нуждается в пояснении] было очень много людей, которые меня ненавидели, — и это был единственный раз в моей жизни,

когда я был достаточно важной персоной, чтобы со мной такое случилось. Я служил в этом городе в одном из полицейских подразделений» [369].

Эта «тропическая готика» стала возможна благодаря той необъятной власти, которую даровал метрополии высокоразвитый капитализм, — власти настолько огромной, что ее можно было удерживать, так сказать, почти без усилий. Ничто так хорошо не иллюстрирует капитализм в феодально-аристократическом платье, как колониальные военнослужащие, которые заметно отличались от военнослужащих метрополий, нередко даже в формально-институциональном плане [370]. Так, в Европе была «Первая Армия», набираемая посредством массового призыва из граждан метрополии, идеологически трактуемая как защитница *Heimat*, одетая в практичные, утилитарные хаки, вооруженная самым новейшим оружием, в мирное время запираемая в казармы, а в военное время занимающая позиции в окопах или под прикрытием тяжелой артиллерии. За пределами Европы была «Вторая Армия», набираемая (за исключением офицерского корпуса) на основе платного найма из местных религиозных или этнических меньшинств, идеологически трактуемая как внутренняя полицейская сила, одетая так, чтобы убивать в спальнях и бальных залах, вооруженная саблями и устаревшим оружием промышленного производства, в мирное время показываемая на парадах, а в военное время пересаживаемая на лошадей. Если у прусского генерального штаба, ставшего учителем Европы в военном искусстве, на первом плане стояла анонимная солидарность профессионализированных армейских корпусов, баллистика, железные дороги, инженерное дело, стратегическое планирование и т. п., то в колониальной армии превыше всего ценились слава, эполеты, личный героизм, поло и стилизованная под старину куртуазность ее офицеров. (Она могла себе это позволить, потому что где-то рядом, на близлежащем фоне были Первая Армия и Военно-морской флот.) Этот менталитет сохранялся очень долго. В 1894 г. в Тонкине Лиоте писал:

“ «Quel dommage de n'être pas venu ici dix ans plus tôt! Quelles carrières à y fonder et à y mener. Il n'y a pas ici un de ces petits lieutenants, chefs de poste et de reconnaissance, qui ne développe en 6 mois plus d'initiative, de volonté, d'endurance, de personnalité, qu'un officier de France en toute sa carrière.» [«Как жаль, что я не оказался здесь на десять лет раньше! Какие карьеры здесь можно было начать и сделать! Среди этих неказистых лейтенантов, начальников постов и разведки нет ни одного, кто не проявил бы за шесть месяцев больше инициативы, воли, настойчивости, личного начала, чем офицер Франции за всю свою карьеру»] [371].

В 1951 г. в Тонкине Жану де Латру де Тассиньи, «которому были по душе офицеры, сочетавшие характер со „стилем“, сразу же приглянулся лихой кавалерист [полковник Де Кастри]. Его ярко-красный головной убор „спаги“ и перевязь, величественный стек и сочетание непринужденных манер с герцогской наружностью делали его в Индокитае пятидесятых столь же неотразимым для женщин, каким он был в тридцатые годы для парижанок» [372].

Еще одним поучительным свидетельством аристократического или псевдоаристократического происхождения колониального расизма была типичная

«солидарность между белыми», которая связывала колониальных правителей из разных национальных метрополий, какие бы внутренние противоречия и конфликты у них ни возникали. Своим любопытным надгосударственным характером эта солидарность неуловимо напоминает классовую солидарность европейских аристократий XIX в., опосредованную охотничьими домиками, курортами и бальными залами, а также то братство «офицеров и джентльменов», которое получило характерное для XX в. выражение в Женевской конвенции, гарантировавшей привилегированное обращение с пленными вражескими офицерами, в отличие от партизан и гражданских лиц.

Аргумент, намеченный выше в общих чертах, можно также развить далее, рассмотрев его со стороны колониальных населений. Ибо, если оставить в стороне заявления некоторых колониальных идеологов, бросается в глаза, сколь мало проявилась в антиколониальных движениях такая сомнительная вещь, как «перевернутый расизм». В этом вопросе язык легко может нас обмануть. Например, яванское слово *londo* (производное от слова «голландец» или «нидерландец») в одном из значений относилось не только к «голландцам», но и к «белым» вообще. Однако само происхождение его показывает, что для яванских крестьян, которым вряд ли когда-либо приходилось сталкиваться с еще какими-то «белыми», кроме голландцев, эти два значения в итоге просто частично слились. Аналогичным образом, во французских колониальных владениях слово «*les blancs*» означало правителей, чья французскость была неотделима от белизны их кожи. Ни слово *londo*, ни слово *blanc*, насколько мне известно, не утратили связи с кастой, но и не породили унизительных вторичных отличий[373].

Напротив, дух антиколониального национализма — это дух пронзающей душу конституции Республики Тагальского архипелага (1902), существовавшей недолгое время под руководством Макарио Сакая, в которой, помимо прочего, говорилось:

“ «Ни один тагал, родившийся на нашем Тагальском архипелаге, не будет никого возносить над остальными из-за его расы или цвета кожи: светлый, темный, богатый, бедный, образованный и невежественный — все абсолютно равны и должны быть в одном лобе [внутреннем духе]. Могут быть различия в образовании, богатстве или внешности, но никогда — в неотъемлемой природе (*pagkatao*) и способности служить общему делу»[374].

Можно без труда найти аналогии и на другой стороне земного шара. Испаноязычные метисы-мексиканцы считают своими предками не кастильских конкистадоров, а полузабытых ацтеков, майя, тольтеков и сапотек. Уругвайские революционеры-патриоты, сами будучи креолами, взяли себе имя Тупака Амару, последнего великого коренного мятежника, восставшего против креольского гнета и погибшего в 1781 г. под неопишными пытками.

Возможно, покажется парадоксальным, что у всех этих привязанностей объекты «воображаемые»: анонимные и безликие братья-тагалы, истребленные племена, Матушка-Русь или *tanah air*. Однако в этом отношении *amor patriae* ничем не отличается от других

привязанностей, в которых всегда присутствует элемент аффективного воображения. (Поэтому рассматривать альбомы с фотоснимками чужих свадеб в чем-то сродни ознакомлению с планом висячих садов Вавилона, нарисованным археологом.) Чем для любящего является глаз, его собственный, обыкновенный глаз, с которым он родился, — тем же для патриота является язык, и при этом совершенно неважно, какой язык история сделала для него родным. Посредством этого языка, с которым знакомишься младенцем на руках у матери, а расстаешься только в могиле, воссоздается прошлое, воображаются общности и грезится будущее.

9. Ангел истории

Мы начали это небольшое исследование с упоминания недавних войн между Социалистической Республикой Вьетнам, Демократической Кампучией и Китайской Народной Республикой; а потому под конец будет вполне уместно вернуться к этой точке отсчета. Может ли что-то из того, что до сих пор было сказано, помочь нам глубже понять эту вспышку военных действий?

В «Распаде Британии» Тома Нейрна приводятся ценные слова о связи британской политической системы с политическими системами остального современного мира:

“ «Одна лишь [британская система] представляла „медленный рост в общепринятом его понимании, в отличие от других, которые были продуктом сознательного изобретения, основанного на теории“. Явившись на сцену позже, эти другие „попытались одним махом пожать плоды того опыта, который столетиями накапливало это государство, развивая свой конституционный строй“... Английский (а позднее британский) опыт в силу его первенства продолжал стоять особняком. Более поздние буржуазные общества, будучи вторыми и войдя в мир, где уже успешно свершилась и широко распространила свое влияние английская революция, не могли повторить этот ранний этап развития. Их ученичество и подражание породили нечто, прямо отличающееся по своей сути: подлинно современную доктрину абстрактного, или „безличного“ государства, которое именно в силу его абстрактной природы можно было в дальнейшем ходе истории копировать.

Можно, конечно, увидеть здесь обычную логику развития. Это был ранний образец того, чему впоследствии присвоили такие благородные титулы, как, например, „закон неравномерного и комбинированного развития“.

Действительные повторение и подражание — будь то в политической, экономической, социальной или технологической области — вряд ли теперь вообще возможны, ибо мир уже слишком сильно преобразован копируемой первопричиной»[375].

То, что Нейрн говорит о современном государстве, в не меньшей степени применимо и к двум понятиям-близнецам, нынешними воплощениями которых стали три вышеупомянутых социалистических страны, вошедших в военное противостояние: это понятия революции и национализма. Наверное, проще простого забыть, что эта пара, как и «капитализм» и «марксизм», представляет собой изобретения, на которые невозможно заполучить патент. Они, образно говоря, прямо-таки ожидают пиратства. Из этих пиратств и только из них проистекает эта всем хорошо известная аномалия: общества наподобие Кубы, Албании и Китая, которые, будучи революционно-социалистическими, считают себя ушедшими далеко

«вперед» таких обществ, как Франция, Швейцария и Соединенные Штаты, но вместе с тем, отличаясь низкой производительностью труда, нищенским уровнем жизни и отсталыми технологиями, не менее определенно воспринимаются как «отсталые». (Отсюда меланхоличная мечта Чжоу Эньлая догнать к 2000 г. капиталистическую Британию.)

Мы уже ранее приводили справедливое замечание Хобсбаума, что «Французская революция была совершена и возглавлена не сложившейся партией или движением, в современном смысле слова, и не людьми, пытавшимися осуществить какую-то систематическую программу». И вместе с тем благодаря печатному капитализму французский опыт не просто оказался неискореним из человеческой памяти; он стал таким, что на нем можно было учиться. Из почти столетнего модульного теоретизирования и практического экспериментирования родились большевики, совершившие первую успешную «спланированную» революцию (пусть даже успех этот не стал бы возможен без предшествующих побед Гинденбурга при Танненберге и на Мазурских озерах) и попытавшиеся осуществить систематическую программу (пусть даже на практике им каждодневно приходилось импровизировать). Кроме того, кажется очевидным, что без таких планов и программ в империи, едва вошедшей в эпоху промышленного капитализма, о революции не могло быть и речи. Модель большевистской революции оказала решающее воздействие на все революции XX в., поскольку сделала их вообразимыми в обществах, даже еще более отсталых, чем Россия. (Она, так сказать, открыла возможность прерывать историю в критической ситуации.) Искусные ранние эксперименты Мао Цзэдуна доказали применимость этой модели за пределами Европы. А стало быть, можно увидеть своего рода кульминацию этого модульного процесса в случае Камбоджи, где в 1962 г. «рабочий класс» составлял во взрослом трудоспособном населении общей численностью 2,5 млн. человек менее 2,5 %, а «капиталисты» — менее 0,5 %[376].

Подобным же образом и национализм с конца XVIII в. находился в процессе модульного перенесения и адаптации, приспособляясь к разным эпохам, политическим режимам, экономикам и социальным структурам. В итоге эта «воображаемая общность» проникла во все мыслимые современные общества. Если для иллюстрации крайнего модульного переноса «революции» можно привлечь пример современной Камбоджи, то для иллюстрации такого же переноса национализма, вероятно, справедливо будет взять в качестве примера Вьетнам, предприняв краткий экскурс в название этой нации.

В 1802 г. Зя Лонг на церемонии своей коронации пожелал назвать свое королевство «Нам Вьет» и послал гонцов, чтобы заручиться согласием Пекина. Маньчжурский Сын Неба настоял, однако, чтобы оно называлось «Вьет Нам». Причина этой инверсии такова: «Вьет Нам» (или по-китайски Юэнань) — буквально «к югу от Вьета (Юэ)» — обозначает королевство, завоеванное семнадцать веков назад династией Хань и охватывавшее, как принято считать, территории нынешних китайских провинций Гуаньдун и Гуаньси, а также долину Красной Реки. «Нам Вьет» Зя Лонга означал, в свою очередь, «Южный Вьет/ Юэ» и тем самым содержал в себе притязание на это древнее королевство. Как пишет Александр Вудсайд, «название „Вьетнам“, поскольку оно исходило от Пекина, в целом вряд ли ценилось столетие тому назад вьетнамскими правителями так высоко, как сегодня. Будучи искусственным обозначением, оно не получило широкого хождения ни среди китайцев, ни среди вьетнамцев. Китайцы упорно цеплялись за оскорбительное танское название

„Аннам“... Со своей стороны, вьетнамский королевский двор в 1838–1839 гг. втайне придумал для своего королевства еще одно название и на этот раз не стал брать на себя труд уведомить об этом китайцев. Новое название, Дай Нам („Великий Юг“, или „Императорский Юг“), стало регулярно использоваться в документах двора и в официальных исторических компиляциях. Однако до наших дней оно не дожило»[377]. Это новое название интересно в двух отношениях. Во-первых, оно не содержит в себе «вьет»-намского элемента. Во-вторых, его территориальная референция, по всей видимости, сугубо относительна — это «юг» (Срединного царства)[378].

То, что сегодня вьетнамец гордо защищает Вьет Нам, презрительно изобретенный маньчжурским императором XIX в., заставляет нас вспомнить правило Ренана, что нации должны «много забыть» [«oublié bien des choses»], но вместе с тем, что парадоксально, напоминает нам и о присущей национализму силе воображения.

Оглядываясь назад, на Вьетнам тридцатых или Камбоджу шестидесятых, можно обнаружить, *mutatis mutandis*, много похожего: огромное неграмотное эксплуатируемое крестьянство, малочисленный рабочий класс, небольшие вкрапления буржуазии и крошечную, разобщенную интеллигенцию[379]. Ни один здравомыслящий аналитик, рассматривая объективно эти условия, не смог бы в то время предсказать, что там скоро произойдут революции и что они одержат сокрушительную победу. (Почти то же самое и по тем же самым причинам можно было бы сказать о Китае 1910 г.) Что в конце концов сделало эти революции возможными, так это «планирование революции» и «воображение нации»[380].

Политику полпотовского режима можно лишь в очень ограниченной степени приписать традиционной кхмерской культуре или жестокости, паранойе и мании величия его лидеров. У кхмеров есть свои деспоты, страдающие манией величия; стараниями некоторых из них был воздвигнут Ангкор. Гораздо более важными являются модели того, что революции вынуждены, могут, должны или не должны делать, которые были взяты у Франции, СССР, Китая и Вьетнама — и из всех книг, написанных о них по-французски[381].

Почти то же можно сказать о национализме. Нынешний национализм — наследник двух столетий исторических изменений. По всем причинам, которые я попытался коротко описать, наследие это поистине двулико, как Янус. Ибо в число наследодателей входят не только Сан-Мартин с Гарибальди, но и Уваров с Маколеем. Как мы увидели, «официальный национализм» с самого начала был осознанной политикой самозащиты, тесно связанной с консервацией имперско-династических интересов. Но едва лишь он вышел на «всеобщее обозрение», как стал таким же копируемым, как и прусские военные реформы начала XIX в., причем копируемым той же разновидностью политических и социальных систем. Одной из устойчивых черт этого стиля национализма была и остается его официальность; иначе говоря, он исходит от государства и служит, в первую очередь и прежде всего, его интересам.

Таким образом, модель официального национализма становится актуальной прежде всего в тот момент, когда революционеры успешно берут государство под свой контроль и впервые получают возможность использовать государственную мощь для воплощения в реальность

своих видений. Эта актуальность еще более возрастает вследствие того, что даже самые радикальные революционеры всегда в какой-то степени наследуют государство у поверженного режима. Некоторые из элементов этого наследия имеют символический характер, но не теряют от этого своей важности. Несмотря на смутные опасения Троцкого, столица СССР была возвращена в старую столицу царского режима, Москву; и на протяжении более 65 лет вожди КПСС творили свою политику в Кремле, древней цитадели царизма — выбрав ее из всех возможных мест на огромной территории этого социалистического государства. Аналогичным образом, столицей КНР стала бывшая столица Маньчжурской династии (тогда как Чан Кайши перенес ее в Нанкин), и вожди КПК заседают в Запретном городе, где раньше правили Сыны Неба. На самом деле, было очень мало социалистических руководств (если вообще таковые были), которые не воспользовались шансом вскарабкаться на эти обветшалые теплые места. Кроме того, на менее очевидном уровне победившим революционерам достается в наследство «переплетение проводов» старого государства: иногда функционеры и информаторы, но всегда — документация, досье, архивы, законы, финансовые ведомости, переписи, карты, договоры, корреспонденция, меморандумы и т. д. Подобно сложной системе электропроводки, существующей во всяком крупном особняке, покинутом бежавшим прежним владельцем, государство только и ждет, когда рука нового хозяина повернет наконец выключатель и вернет ему его старое великолепное «я».

Поэтому не следует слишком уж удивляться, когда революционное руководство сознательно или неосознанно начинает исполнять роль хозяина поместья. Здесь мы имеем в виду не просто самоидентификацию Джугашвили с Иваном Грозным, открытое восхищение Мао тираном Цинь Ши-хуанди или возрождение Иосифом Броз Тито руританской[382] помпы и церемониальности[383]. «Официальный национализм» проникает в стилистику послереволюционного руководства гораздо более вкрадчиво. Я имею в виду, что такое руководство с необыкновенной легкостью усваивает мнимую национальность (nationalnost) прежних династических монархов и династического государства. В удивительном попятном движении династические монархи, зная ничего не знавшие о «Китае», «Югославии», «Вьетнаме» или «Камбодже», вдруг становятся националами (пусть даже не всегда «достойными»). Из этой аккомодации неизменно вытекает тот «государственный» макиавеллизм, который так характерен для послереволюционных режимов, в отличие от революционных националистических движений. Чем более натурализуется древнее династическое государство, тем более способен его древний наряд укутать революционные плечи. Образ Ангкора короля Джайявармана VII, красующийся на флаге марксистской Демократической Кампучии (а также на флагах марионеточной республики Лон Нола и монархической Камбоджи Сианука), — это не ребус преклонения перед прошлым, а символ власти[384].

Я делаю особый акцент на руководстве, потому что не народ, а именно руководство наследует старые пульты управления и дворцы. Никто, как мне кажется, не представляет в своем воображении, будто широкие массы китайского народа придают хоть какое-нибудь значение происходящему на колониальной границе между Камбоджей и Вьетнамом. И вообще невероятно, чтобы сами кхмерские и вьетнамские крестьяне желали войн между своими народами или чтобы с ними кто-то по этому вопросу советовался. Это были в самом прямом смысле «канцлерские войны», в которых мобилизация массового национализма

происходила в основном post factum и всегда на языке самозащиты. (Отсюда особенно низкий народный энтузиазм по этому поводу в Китае, где этот язык был менее всего правдоподобен, даже под светящейся неоновой вывеской «советского гегемонизма»[385].)

При всем при том Китай, Вьетнам и Камбоджа ничуть не уникальны[386]. А потому у нас мало оснований надеяться, что пример войн между социалистическими странами, поданный ими, не найдет дальнейшего продолжения, или что воображаемое сообщество социалистической нации будет вскоре распродано по дешевке. Между тем, нельзя ничего сделать для сдерживания или предотвращения этих войн, пока мы не откажемся от таких фикций, как «марксисты по сути своей не националисты» или «национализм — патология современного развития», — и не станем вместо этого медленно и терпеливо изучать реальный и воображаемый опыт прошлого.

Вальтер Беньямин писал об Ангеле Истории:

“ «Его лицо обращено в прошлое. Там, где мы воспринимаем цепь событий, он видит одну сплошную катастрофу, которая складывает в груды крушения, одно поверх другого, и бросает все это к его ногам. Ангел и рад бы остановиться, разбудить мертвых и воссоединить то, что было разбито. Но из Рая дует штормовой ветер; он бьет в его крылья с такой силой, что ангел уже не в состоянии их сложить. Этот ураган неумолимо несет его в будущее, к коему он обращен спиной, а тем временем груды обломков перед его глазами вырастают высотой до неба. Этот ураган и есть то, что мы называем прогрессом»[387].

Но Ангел бессмертен, а наши лица смотрят в лежащую впереди темноту.

10. Перепись, карта, музей

В первом издании «Воображаемых сообществ» я писал, что «в политике „строительства нации“, проводимой новыми государствами, очень часто можно увидеть как подлинный, массовый националистический энтузиазм, так и систематичное, даже по-макиавеллиански циничное впрыскивание националистической идеологии через средства массовой информации, систему образования, административные предписания и т. д.»[388]. Тогда я недальновидно полагал, что в колонизированных мирах Азии и Африки официальный национализм напрямую копировался с образца династических государств Европы XIX в. Последующие размышления убедили меня, что эта точка зрения была опрометчивой и поверхностной и что непосредственную генеалогию национализма необходимо искать в способах воображения, присущих колониальному государству. На первый взгляд, этот вывод может показаться неожиданным, поскольку колониальные государства, как правило, были антинационалистическими и часто даже воинственно отстаивали эту позицию. Однако если скинуть внешний покров колониальных идеологий и колониальной политики и взглянуть на грамматику, в соответствии с которой они с середины XIX в. разворачивались, то искомое родство решительно проясняется.

Мало что демонстрирует так зримо и рельефно эту грамматику, как три института власти, которые, хотя и были изобретены еще до середины XIX в., изменили, по мере вступления колонизированных зон в эпоху механического воспроизводства, свою форму и функцию. Этими институтами были перепись населения, карта и музей: все три глубоко повлияли на то, как колониальное государство созерцало в воображении свой доминион — природу людей, которыми оно правило, географию своих владений и легитимность своего происхождения. Анализируя в этой главе характер этой связи, я ограничу свое внимание Юго-Восточной Азией, поскольку полученные мною выводы предварительны, а мои претензии на серьезные специальные познания ограничиваются только этим регионом. Вместе с тем, исследователи, испытывающие интерес к сравнительно-историческим изысканиям, найдут в Юго-Восточной Азии особые преимущества, ибо она включает территории, колонизированные почти всеми «белыми» имперскими державами — Британией, Францией, Испанией, Португалией, Нидерландами и Соединенными Штатами, — а также неколонизированный Сиам. Читатели, знающие другие районы Азии и Африки лучше меня, смогут судить, выдерживает ли мой аргумент проверку на более широкой исторической и географической сцене.

Перепись

В двух недавно опубликованных полезных статьях социолог Чарлз Хиршман приступил к исследованию *mentalités* британских колониальных чиновников, переписывавших население во владениях Стрейтс-Сетлментс и в полуостровной Малайе, а также их преемников, занимавшихся тем же самым в независимом составном государстве Малайзия[389].

Факсимильные образцы «категорий идентичности», собранные Хиршманом из переписей, поочередно проводившихся с конца XIX в. вплоть до недавнего времени, показывают необыкновенно быстрый и с виду произвольный ряд изменений, в котором эти категории постоянно соединяются воедино, распадаются на части, заново комбинируются, смешиваются друг с другом и перегруппируются (притом, что политически влиятельные категории идентичности непременно оказываются во главе списка). Из этих переписей он делает два основных вывода. Во-первых, пока продолжался колониальный период, категории переписей становились все более наглядно и исключаяще расовыми[390]. Религиозная идентичность, в свою очередь, постепенно утрачивала роль первоочередной учетной классификации. Категория «индусы» после первой переписи 1871 г., в которой она фигурировала в одном ряду с «клингами» и «бенгальцами», исчезла. Категория «парсы» до переписи 1901 г., где она впервые появилась — сведенная воедино с «бенгальцами», «бирманцами» и «тамилами», — подводилась под более широкую категорию «тамылы и другие туземцы Индии». Второй вывод Хиршмана состоит в том, что в целом после обретения независимости крупные расовые категории сохранились и даже обогатились, однако теперь были по-новому определены и классифицированы как «малайзийцы», «китайцы», «индийцы» и «другие». Тем не менее, аномалии продолжали возникать вплоть до 80-х годов нашего века. В переписи 1980 г. «сикхи» в очередной раз нервно обнаружили себя как псевдоэтническую подкатегорию — рядом с «малайяли» и «телугу», «пакистанцами» и «бангладешцами», «шриланкийскими тамилами» и «иными шриланкийцами» — под общей рубрикой «индийцы».

Между тем, замечательные факсимильные образцы Хиршмана зовут нас пойти дальше и выйти за рамки его ближайших аналитических интересов. Возьмем для примера перепись населения Федерации малайских штатов 1911 г., где под рубрикой «малайское население (по расе)» приводится следующий список: «малайцы», «яванцы», «сакай», «банджары», «бойянцы», «мандайлинг» (sic), «кринчи» (sic), «джамби», «ачинцы», «буги» и «другие». Из этих «групп» все кроме (большинства) «малайцев» и «сакай» происходят с островов Суматра, Ява, Южный Борнео и Сулавеси, входивших в состав гигантской соседней колонии — Нидерландской Ост-Индии. Однако это внешнее по отношению к Федерации малайских штатов происхождение не получает признания у составителей переписи, которые, конструируя своих «малайцев», настойчиво уперлись глазами в границы собственной колонии. (Не нужно и говорить, что по ту сторону моря голландские изготовители переписей конструировали другой воображаемый образ «малайцев» — образ незначительной этнической группы, стоящей в одном ряду с «ачинцами», «яванцами» и т. д. и ничем из них не выделяющейся.) «Джамби» и «кринчи» обозначают скорее места, чем что-то, хотя бы отдаленно определяемое как этноязыковое. Совершенно невероятно, чтобы в 1911 г. хотя бы малая часть тех, кого поместили в эти категории и подкатегории, узнала саму себя под этими этикетками. Эти «идентичности», рожденные воображением (невнятно) классифицирующего ума колониального государства, еще только ожидали своей реификации, которая вскоре стала возможна благодаря имперскому административному проникновению. Кроме того, можно заметить страсть изготовителей переписи к завершенности и однозначности. Отсюда их нетерпимость к множественным, политически «трансвеститным», неясным и изменчивым идентификациям. Отсюда же и сопровождающая каждую расовую группу подкатегория «другие» — которых, однако, ни при каких обстоятельствах не следует путать с другими «другими». Замысел переписи состоит в том,

чтобы каждый в нее попал и имел в ней одно — и только одно — абсолютно ясное место. И никаких дробей.

Этот способ сотворения образов колониальным государством родился гораздо раньше, чем переписи 1870-х годов, а потому, чтобы в полной мере понять, почему переписи конца прошлого века были в основе своей все-таки новшеством, полезно заглянуть в прошлое, в первые дни европейского проникновения в Юго-Восточную Азию. В этом отношении поучительны два примера, взятые один с Филиппинского архипелага, а другой — с Индонезийского. В недавно опубликованной книге Уильям Генри Скотт попытался педантично реконструировать классовую структуру доиспанских Филиппин, взяв в качестве основы старейшие испанские документы[391]. Будучи профессиональным историком, Скотт прекрасно понимает, что Филиппины обязаны своим названием Филиппу II «Испанскому» и что с архипелагом — к счастью или несчастью для него — всякое могло случиться: он мог попасть в голландские или английские руки, мог рассыпаться на политические сегменты, мог быть заново собран воедино в ходе последующих завоеваний[392]. А потому есть соблазн объяснить этот курьезный выбор объекта тем обстоятельством, что Скотт долгое время жил на Филиппинах и проникся стойкой симпатией к филиппинскому национализму, который вот уже на протяжении целого столетия не оставляет в покое этот туземный Эдем. Однако вполне вероятно, что более глубокой основой формирования его воображения были те источники, на которые ему пришлось полагаться. Ибо все дело в том, что где бы на этих островах ни оказывались первые священники и конкистадоры, они, высаживаясь на берег, непременно обнаруживали там *principales*, *hidalgos*, *pecheros* и *esclavos* (принцев, дворян, простолюдинов и рабов) — квази-сословия, почерпнутые из социальных классификаций позднесредневековой Иберии. Документы, которые они после себя оставили, дают массу случайных свидетельств того, что на этом огромном, разбросанном и малонаселенном архипелаге «*hidalgos*» обычно знать не знали о существовании друг друга, а если даже и знали, то видели в лице друг друга вовсе не *hidalgos*, а врагов или потенциальных рабов. Однако власть системы координат настолько велика, что такие свидетельства отодвигаются в воображении Скотта в сторону, и ему становится трудно увидеть, что «классовая структура» доколониального периода есть «учетный» образ, созданный воображением простаков с испанских галеонов. Куда бы ни ступала их нога, повсюду им мерещились *hidalgos* и *esclavos*, которых только так, т. е. «структурно», могло собрать воедино рождающееся колониальное государство.

В отношении Индонезии мы, благодаря исследованию Мэйсона Хоудли, располагаем подробным описанием важного случая из судебной практики, имевшего место в прибрежном порту Черибон на острове Ява в конце XVII в.[393] К счастью, голландские (Ост-Индская компания) и местные черибонские документы сохранились до настоящего времени. Если бы сохранился только черибонский отчет, то мы бы узнали, что человек, обвиненный в убийстве, был высокопоставленным чиновником черибонского двора, носившим титул Ки Арья Марта Нинграт (личное имя неизвестно). Однако документы ОИК гневно идентифицируют его как *Chinees* [китайца] — и это, по сути, единственная чрезвычайно важная информация о нем, которую они сообщают. Отсюда видно, что если черибонский двор классифицировал людей по рангу и статусу, то компания использовала в качестве критерия что-то вроде «расы». Нет никаких оснований считать, что человек, обвиненный в убийстве — чей высокий статус говорит о давней интеграции его и его предков в

черибонское общество, вне зависимости от их этнического происхождения, — вообще мыслил себя «китайцем». Но как в таком случае пришла к этой классификации ОИК? Откуда могло возникнуть в воображении такое определение: *Chinees*? Разумеется, его источником могли стать только те невыносимые торгошники, чьи корабли беспрестанно курсировали под централизованным руководством из порта в порт на просторах от Мергуйского залива до устья реки Янцзыцзян. Как конкистадорам всюду мерещились бесконечные ряды *hidalgos*, так и компания, начисто забыв о разнородности населений Срединного государства, о том, что им зачастую непонятны многочисленные разговоры друг друга и об особом социальном и географическом происхождении их диаспоры в прибрежной полосе Юго-Восточной Азии, вообразила своим трансокеанским взором бесконечные ряды *Chinezen* [китайцев]. И на основе этой изобретательной категории учета она стала настойчиво требовать, чтобы те подотчетные ей люди, которых она категоризировала как *Chinezen*, одевались, жили, женились, хоронили и завещали свою собственность согласно этой учетной категории. Поразительно, что гораздо менее склонные к дальним путешествиям и не столь погрязшие в торговле иберийцы вообразили на Филиппинах совершенно иную учетную категорию: ту, которую они называли *sangleu*. Слово *sangleu* было вошедшим в испанский язык хоккиенским словом *сенгли*, означавшим «торговец»[394]. Можно представить, как испанские протопереписчики спрашивали торговцев, которых галеонная торговля занесла в Манилу: «Кто вы такие?», — на что те уверенно отвечали: «Мы торговцы»[395]. Не бороздя вдоль и поперек семь азиатских морей, иберийцы на протяжении двух столетий оставались в уютно провинциальной концептуальной мгле. *Sangleu* превращался в «китайца» очень медленно, пока в начале XIX в. это слово наконец не исчезло, уступив место стилизованному в духе Ост-Индской компании слову *chino*.

Реальным нововведением производителей переписей 1870-х годов было, следовательно, не конструирование этно-расовых классификаций, а скорее их систематическая квантификация. Доколониальные правители малайско-яванского мира пытались иногда сосчитать подконтрольное им население, но эти попытки принимали форму налоговых ведомостей и списков военнообязанных. Перед ними стояли вполне конкретные и специфические цели: отследить, кого можно реально обложить налогами и воинской повинностью, — ибо единственным, что интересовало этих правителей, были экономические прибыли и число мужчин, которых можно было поставить под ружье. Ранние европейские режимы в этом регионе мало чем отличались в этом отношении от своих предшественников. Однако после 1850 г. колониальные власти начали применять более изощренные административные средства учета населения, в том числе женщин и детей (которых древние режимы неизменно игнорировали), используя сложную категориальную сетку, не имевшую прямых финансовых или военных целей. В прежние времена подданные, подлежащие обложению налогами и обязательному прохождению военной службы, обычно хорошо сознавали свою исчислимость; правитель и подданные прекрасно понимали друг друга в этом вопросе, пусть даже с непримиримых точек зрения. Однако до 1870 г. не облагаемая налогами и не подлежащая призыву на военную службу «кохинхинская» женщина могла счастливо или несчастливо прожить всю свою жизнь в британских владениях на Малакке, так и не осознав, что все в ее жизни происходит так, как спланировано наверху. И здесь предстает со всей очевидностью специфичность новой переписи. Она пыталась тщательно пересчитать объекты своего воспаленного воображения. Учитывая исключительный характер системы классификации и самой логики

квантификации, «кохининец» должен был быть понят как единица из собранных в один ряд таких же как он, «кохининцев» — разумеется, в территориальных пределах государства. По мере роста колониального государства и умножения числа его функций эта новая демографическая топография все глубже социально и институционально укоренялась. Руководствуясь собственной воображаемой картой, государство организовывало новые образовательные, юридические, здравоохранительные, полицейские и иммиграционные бюрократии, и все они строились по принципу этно-расовых иерархий, которые, между тем, всегда понимались в терминах параллельных серийных рядов. Прохождение подчиненного населения через сеть дифференцирующих школ, судов, клиник, полицейских участков и иммиграционных служб создавало те «привычки перемещения», которые со временем дали прежним фантазиям государства реальную социальную жизнь.

Вряд ли стоит и говорить, что этот путь не всегда представлял собой свободное плавание, и государству часто приходилось сталкиваться с реалиями, доставлявшими ему неудобства. Важнейшей среди них была, несомненно, религиозная принадлежность, служившая основой очень старых и стабильных воображаемых сообществ, совершенно несовместимых с авторитарной картой разметкой светского государства. В разных колониях Юго-Восточной Азии правителям в различной степени приходилось идти на неприятные уступки, особенно исламу и буддизму. В частности, продолжали процветать религиозные храмы, школы и суды, доступ в которые определялся не учетными категориями переписи, а массовым индивидуальным самоопределением. Государство редко могло сделать что-то большее, кроме как попытаться регламентировать эти институты, ограничить их, поставить на учет, стандартизировать и иерархически подчинить своим собственным[396]. Именно в силу своей топографической аномальности храмы, мечети, школы и суды стали восприниматься как зоны свободы, а со временем — как твердыни, из которых могли выйти на борьбу религиозные, а позднее — националистические антиколониалисты. В то же время нередко предпринимались попытки силой добиться лучшего совмещения переписи с религиозными сообществами путем максимально возможного политического и юридического переопределения последних как этнических. В колониальной Федерации малайских штатов сделать это было относительно легко. Те, кого режим считал принадлежащими к разряду «малайцев», были вытеснены во дворы «своих» безвластных султанов, где управление было в значительной степени подчинено исламскому праву[397]. «Исламское», таким образом, было истолковано как просто еще одно название «малайского». (После того, как в 1957 г. страна провозгласила свою независимость, некоторые политические группы попытались перевернуть эту логику, истолковав «малайское» как просто еще одно название «исламского».) В огромной и разнородной Нидерландской Индии, где к концу колониальной эпохи бесчисленные конкурирующие миссионерские организации осуществили в территориально широко разбросанных зонах массовое обращение в свою веру, аналогичные попытки столкнулись с серьезными препятствиями. Тем не менее, даже здесь в 20-е и 30-е годы началось становление «этнических» христианств (батакской церкви, церкви каро, позднее даякской Церкви и т. д.), которые получили развитие отчасти благодаря тому, что государство, руководствуясь своей учетной топографией, распределило зоны религиозного обращения между разными миссионерскими группами. С исламом Батавия не достигла подобного успеха. Она не осмелилась запретить паломничества в Мекку, хотя попыталась притормозить рост числа паломников, держала под контролем их путешествия и шпионила

за ними с аванпоста в Джидде, созданного как раз для этой цели. Ни одной из этих мер не было достаточно для того, чтобы помешать интенсификации контактов мусульман Ост-Индии с широким внешним исламским миром, и особенно для того, чтобы поставить заслон на пути новых интеллектуальных влияний, идущих из Каира[398].

Карта

Тем временем Каир и Мекка постепенно начинали представлять взору по-новому, необычно. Теперь это были не просто места сакральной мусульманской географии, но и точки на листах бумаги, где наряду с ними присутствовали другие точки, обозначавшие Париж, Москву, Манилу и Каракас; а связь на плоскости между этими точками — неважно, профанными или сакральными — не определялась более ничем, что выходило бы за рамки математически рассчитанного времени полета птицы. Карта Меркатора, завезенная европейскими колонизаторами, постепенно начинала — через печать — структурировать воображение жителей Юго-Восточной Азии.

В своей недавно защищенной блестящей докторской диссертации тайский историк Тхонгчай Виничакул проследил сложные процессы, в ходе которых в период с 1850 по 1910 гг. сформировался обведенный границей «Сиам»[399]. Его обзор поучителен именно потому, что хотя Сиам и не был колонизирован, линии, ставшие в конечном счете его границами, были определены колониализмом. Следовательно, в тайском случае можно необыкновенно ясно увидеть появление нового государственного мышления в рамках «традиционной» структуры политической власти.

До восшествия на престол в 1851 г. интеллигентного Рамы IV (Монкута из книги «Король и я») в Сиаме существовали две разновидности карты, и обе изготавливались вручную: эпоха механического воспроизводства в стране еще не наступила. Первой разновидностью было то, что можно было бы назвать «космографией»: строгое по форме символическое представление «трех миров» традиционной буддийской космологии. Космография была организована не горизонтально, как наши карты; скорее, несколько надземных небесных сводов и подземных адов вклинивались в видимый мир вдоль единой вертикальной оси. Она была бесполезна для любых путешествий, кроме поисков заслуг и спасения. Карты второго типа, целиком посясторонние, содержали в себе схематичные ориентиры для военных кампаний и прибрежного мореплавания. Хотя они разбивались на квадранты, все-таки главными их элементами были вписанные от руки примечания, касавшиеся продолжительности сухопутного и морского пути; они были необходимы ввиду того, что у картографов не было представления о масштабе. Охватывая исключительно земное, профанное пространство, их обычно рисовали в причудливо смещенной перспективе или в смеси нескольких перспектив, словно на глаза художников, привыкшие в повседневной жизни видеть ландшафт горизонтально, т. е. на уровне обычного взгляда, все-таки исподволь повлияла вертикальность космографии. Тхонгчай указывает, что эти путеводные карты, имевшие неизменно локальный характер, никогда не соотносились с более широким, стабильным географическим контекстом и что условность взгляда с высоты птичьего полета, принятая в современных картах, была им совершенно чужда.

На обеих разновидностях карт границы не помечались. Их создатели сочли бы непонятной следующую изящную формулировку Ричарда Мейра:

“ «Находясь на стыках смежных государственных территорий, межнациональные границы имеют особую значимость в определении пределов правомочности суверенной власти, а также пространственной формы заключенных в эти пределы политических регионов... Границы... появляются там, где вертикальные соприкосновения разных государственных суверенитетов пересекают на части земную поверхность... Являясь размежеваниями вертикальными, границы не имеют горизонтальной ширины...»[400]

В Сиаме пограничные камни и иные подобные маркеры существовали вдоль западных окраин государства и даже численно множились по мере того, как британцы пытались продвинуться вглубь его территории из Нижней Бирмы. Но эти камни устанавливались не везде, а только около стратегически важных горных перевалов и фордов, и часто были отделены значительными расстояниями от соответствующих камней, установленных противником. Их понимали горизонтально, на уровне глаз, как точки протяженности королевской власти, а не как что-то «возникшее из воздуха». Лишь в 70-е годы прошлого века тайские лидеры начали воспринимать границы как сегменты непрерывной линии на карте, не соответствующей ничему видимому на земле, но устанавливающей границы исключительного суверенитета, втиснувшегося между другими суверенитетами. В 1874 г. вышел в свет первый учебник географии, сочиненный американским миссионером Й. В. Ван Дейком, — один из первых продуктов печатного капитализма, начавшего к тому времени проникать и в Сиа́м. В 1882 г. Рама V учредил специальную картографическую школу в Бангкоке. В 1892 г. министр образования принц Дамронг Ратчанубаб, внедривший в стране систему образования современного стиля, сделал географию обязательным предметом преподавания в младших классах средней школы. В 1900 г. или около того была опубликована книга Phumisat Sayam [География Си́ама] У. Г. Джонсона, ставшая с тех пор образцом для всех печатных географий страны[401]. Тхонгчай отмечает, что векторное совпадение печатного капитализма с новой концепцией пространственной реальности, представляемой новыми картами, немедленно сказалось на языке тайской политики. За период с 1900 по 1915 гг. традиционные слова *krung* и *muang* почти вышли из употребления, поскольку представляли образ государства в терминах священных столиц и зримых, несвязных населенных центров[402]. Их место заняло слово *prathet*, «страна», представившее его в незримых категориях территориально замкнутого пространства[403].

Как и переписи, карты европейского стиля базировались на тотализирующей классификации и подталкивали их бюрократических производителей и потребителей к проведению политики, имевшей революционные последствия. С тех пор, как в 1761 г. Джон Харрисон изобрел хронометр, давший возможность точно рассчитывать долготу, вся искривленная поверхность планеты была упрята́на в геометрическую координатную сетку, расчертившую неведомые моря и неосвоенные регионы на измеримые квадратные ячейки[404]. Задача, так сказать, «заполнения» этих ячеек ложилась на путешественников, топографов и вооруженные силы. В Юго-Восточной Азии вторая половина XIX в. была

золотым веком военных топографов: сначала колониальных, а чуть позже тайских. Они победоносно подчиняли пространство такому же учету, какому производители переписей пытались подчинить людей. Триангуляция за триангуляцией, война за войной, договор за договором — так протекало соединение карты и власти. Тут будет уместно привести слова Тхонгчая:

“ «С точки зрения большинства теорий коммуникации и здравого смысла, карта есть научная абстракция реальности. Карта лишь репрезентирует нечто, уже объективно „вот здесь“ существующее. В истории, описанной мною, эта связь встала с ног на голову. Именно карта предвосхитила пространственную реальность, а не наоборот. Иными словами, карта была не моделью той реальности, которую она намеревалась представить, а образцом для сотворения самой этой реальности... Она стала настоящим инструментом конкретизации проекций на земную поверхность. Теперь карта была необходима новым административным механизмам и войскам для подкрепления их притязаний... Дискурс картографирования был той парадигмой, в рамках которой осуществлялись административные и военные действия и которую эти действия фактически обслуживали»[405].

К концу столетия, с осуществлением реформ принца Дамронга в министерстве внутренних территорий (замечательное название, с точки зрения картографии!), административное управление королевством было наконец целиком поставлено по примеру соседних колоний на территориально-картографическую основу.

Было бы недальновидно обойти вниманием решающую точку пересечения карты и переписи. Новая карта надежно выполняла задачу разграничения бесконечных рядов «хакка», «нетамильских шриланкийцев» и «яванцев», вымышленных формальным аппаратом переписи, устанавливая территориальные пределы этих рядов там, где, с политической точки зрения, они заканчивались. В свою очередь, перепись посредством своего рода «демографической триангуляции» наполняла формальную топографию карты политическим содержанием.

В ходе этих изменений сформировались две конечные аватары карты (обе были институционализированы позднеколониальным государством), которые являются прямым прообразом официальных национализмов Юго-Восточной Азии XX в. Полностью сознавая свою чужеродность в далеких тропиках, но попадая туда из цивилизации, где уже давно были узаконены наследование географического пространства и передача его от одного хозяина к другому[406], европейцы часто пытались легитимировать распространение своей власти квази-законными методами. В число самых популярных среди них входило «наследование» мнимых суверенных прав туземных правителей, которых европейцы уничтожали или подчиняли своей власти. В любом случае узурпаторы, особенно оказываясь *vis-a-vis* с другими европейцами, вовлекались в реконструкцию истории собственности своих новых владений. Отсюда появление, особенно под конец XIX в., «исторических карт», призванных демонстрировать в новом картографическом дискурсе древность особых, плотно упакованных территориальных единиц. Через хронологически упорядоченные

последовательности таких карт выстраивался своего рода политико-биографический нарратив династического государства, иногда обладающий бездонной исторической глубиной[407]. В свою очередь, этот нарратив заимствовали, пусть часто и в адаптированном виде, национальные государства, ставшие в XX в. правопреемниками колониальных государств[408].

Второй аватарой была карта-как-логотип. Источник у нее был вполне невинный: привычка имперских государств окрашивать свои колонии на карте в имперский цвет. На имперских картах Лондона для британских колоний обычно использовались розовый и красный цвета, для французских — фиолетовый и синий, для голландских — желтый и коричневый и т. д. Окрашенная таким образом, каждая колония представляла как отдельный кусочек составной картинки-загадки. Когда эффект «картинки-загадки» вошел в норму, каждый такой «кусочек» мог быть полностью отделен от своего географического контекста. В конечной его форме могли быть скопом удалены все объяснительные глоссы: линии долготы и широты, названия мест, условные знаки, обозначающие реки, моря и горы, и, наконец, соседи. Чистый знак, уже не путеводитель по миру. В этой своей форме карта вошла в бесконечно воспроизводимые серии, став пригодной для переноса на плакаты, официальные печати, фирменные бланки, обложки журналов и учебников, скатерти и стены отелей. Мгновенно узнаваемый и повсюду замечаемый, логотип карты глубоко внедрялся в массовое воображение, формируя выразительный символ для зарождающихся антиколониальных национализмов[409].

Современная Индонезия дает нам яркий и болезненный пример этого процесса. В 1828 г. на остров Новая Гвинея высадилась первая партия одержимых лихорадочной активностью голландских поселенцев. Хотя в 1836 г. им пришлось покинуть основанное ими поселение, голландская корона объявила суверенитет над частью острова, лежавшей к западу от 141-й долготы (невидимой линии, которая не соответствовала ничему на земной поверхности, но втискивала в ячейки все более сокращающиеся неокрашенные Конрадовы пространства), за исключением некоторых прибрежных территорий, над которыми признавался суверенитет султана Тидоре. Лишь в 1901 г. Гаага выкупила у султана Западную Новую Гвинею и включила ее в Нидерландскую Индию — как раз вовремя для логотипизации. Большие части этого региона оставались незакрашенными до окончания второй мировой войны; горстку голландцев, которые там жили, составляли в основном миссионеры, разведчики недр и надзиратели специальных тюремных лагерей для непокорных радикальных индонезийских националистов. Болота к северу от Мерауке, что на юго-восточной оконечности голландской Новой Гвинеи, были выбраны в качестве местоположения этих учреждений именно потому, что этот район был наиболее удален от остальной колонии, а местное население «каменного века» было абсолютно не запятнано националистическим мышлением[410].

Интернирование, а часто и погребение здесь мучеников-националистов позволили Западной Новой Гвинее занять центральное место в фольклоре антиколониальной борьбы и сделали ее священным местом в национальном воображении: Свободу Индонезии от Сабанга (на северо-западной оконечности Суматры) до — чего бы вы думали? — ну, конечно же, — Мерауке! И не имело никакого значения, что никто из националистов, за исключением нескольких сотен интернированных, до шестидесятых годов ни разу в жизни не видел Новую Гвинею собственными глазами. Между тем, голландские колониальные карты-

логотипы, быстро разлетаясь по всей колонии и показывая Западную Новую Гвинею так, как будто к востоку от нее ничего не было, безотчетно все больше укрепляли воображенные узы. Когда отгремели ожесточенные антиколониальные войны 1945–1949 гг. и голландцы были вынуждены передать суверенитет над архипелагом Соединенным Штатам Индонезии, они попытались (по причинам, которые не должны нас здесь отвлекать) отделить Западную Новую Гвинею еще раз, временно удержать ее под своим колониальным управлением и подготовить к принятию независимой национальной государственности. Эти попытки прекратились лишь в 1963 г., вследствие мощного дипломатического давления американцев и индонезийских военных операций. Только тогда президент Сукарно в возрасте 62 лет впервые посетил регион, о котором неустанно ораторствовал на протяжении четырех десятилетий. Последующие неровные отношения между населением Западной Новой Гвинеи и эмиссарами независимого индонезийского государства можно отнести на счет того, что индонезийцы более или менее искренне считают это население «братьями и сестрами», тогда как само это население по большей части придерживается совершенно иного взгляда на вещи[411].

Это различие многим обязано переписи и карте. Глухое местоположение Новой Гвинеи и труднопроходимость местности создали здесь за много тысяч лет необычайную языковую фрагментацию. Когда в 1963 г. голландцы уходили из этого региона, у здешнего населения, составлявшего 700 тыс. человек, существовало, по их приблизительным оценкам, более 200 по большей части взаимно непонятных языков[412]. Многие «племенные» группы, проживавшие в самых глухих районах, даже не знали о существовании друг друга. Между тем, голландские миссионеры и чиновники, особенно после 1950 г., впервые всерьез попытались «объединить» их посредством проведения переписей населения, расширения коммуникационных сетей, создания школ и возведения «надплеменных» правительственных структур. И эта попытка была предпринята колониальным государством, которое, как мы уже заметили, было уникальным в том отношении, что управляло индийскими территориями, используя главным образом не европейский язык, а «административный малайский»[413]. А следовательно, Западная Новая Гвинея была «воспитана» в том же языке, в котором ранее была выпестована Индонезия (и который естественным образом стал ее национальным языком). Ирония в том, что bahasa Indonesia стал, тем самым, «лингва франка» развивающегося западно-новогвинейского, западно-папуасского национализма[414].

Однако именно карта собрала воедино часто ссорившихся друг с другом молодых западно-папуасских националистов, особенно после 1963 г. Хотя индонезийское государство и изменило название этого региона, превратив West Nieuw Guinea сначала в Irian Barat (Западный Ириан), а затем в Irian Jaya, оно прочитало его локальную реальность в атласе колониальной эпохи, отражавшем взгляд с высоты птичьего полета. Небольшая горстка антропологов, миссионеров и местных чиновников еще могла знать и мыслить о ндани, асматах и бауди. Но государство, а через него и индонезийское население в целом видели только фантомных «ирианцев» (orang Irian), именуемых в соответствии с картой. А поскольку это был фантом, то и представляться он должен был в квази-логотипной форме: «негроидные» черты, пенисы в чехлах и т. п. Примерно так же, как в начале XX в. в рамках расистских структур Нидерландской Ост-Индии впервые была воображена Индонезия, зародилось «ирианское» национальное сообщество, ограниченное 141-м меридианом и

соседними провинциями Северных и Южных Молуккских островов. Когда в 1984 г. по приказу государства был злодейски убит его наиболее выдающийся и привлекательный представитель Арнольд Ап, он работал хранителем государственного музея, посвященного «ирианской» (провинциальной) культуре.

Музей

Связь между занятием Апа и его убийством вовсе не случайна. Ведь музеи и музейное воображение в глубине своей политичны. То, что его музей был основан далекой Джакартой, показывает нам, что новое национальное государство, Индонезия, училось у своей непосредственной предшественницы — колониальной Нидерландской Ост-Индии. За нынешним ростом числа музеев по всей Юго-Восточной Азии угадывается некоторый общий процесс политического наследования. И чтобы понять этот процесс, нам необходимо рассмотреть новую колониальную археологию XIX в., сделавшую такие музеи возможными.

До начала XIX в. колониальные правители в Юго-Восточной Азии проявляли мало интереса к древним памятникам цивилизаций, которые они себе подчинили. Томас Стэмфорд Раффлз, грозный эмиссар из Калькутты времен Уильяма Джонса, был первым видным колониальным чиновником, который не только собрал огромную личную коллекцию местных *objets d'art*[415], но и стал систематически изучать их историю[416]. С этих пор величественные красоты Боробудура, Ангкора, Пагана и иных древних достопримечательностей стали все чаще извлекать на свет, очищать от диких зарослей, измерять, фотографировать, реконструировать, огораживать, анализировать и выставлять напоказ[417]. Колониальные археологические службы стали влиятельными и престижными институтами; на работу в них привлекали исключительно талантливых ученых-чиновников[418].

Доскональное исследование того, почему и когда это произошло, увело бы нас слишком далеко от нашей темы. Здесь, вероятно, достаточно будет предположить, что это изменение было как-то связано с упадком торгово-колониальных режимов двух великих Ост-Индских компаний и становлением подлинно современной колонии, напрямую присоединенной к метрополии[419]. Соответственно, престиж колониального государства был теперь тесно связан с престижем его заморского господина. Достоинно внимания, сколь интенсивно сосредоточились археологические усилия на восстановлении впечатляющих памятников (и как эти памятники стали наноситься на карты, предназначенные для массового тиражирования и наставления: это была своего рода некрологическая перепись). В этом акценте, несомненно, нашла отражение и всеобщая мода на все восточное. Однако огромные средства, вкладываемые в это дело, позволяют заподозрить, что у государства были на то свои собственные причины, не имевшие отношения к науке. На ум приходят целых три таких причины, из которых последняя, безусловно, самая важная.

Во-первых, археологический бум совпал по времени с началом политической борьбы вокруг стратегии государства в сфере образования[420]. «Поборники прогресса» — как колонисты, так и коренные жители — требовали крупных вложений в современное школьное образование. Против них выступили стройными рядами консерваторы, которые боялись долгосрочных последствий такого образования и предпочитали, чтобы аборигены

оставались аборигенами. В этом свете, археологические реставрации, за которыми вскоре последовало поддерживаемое государством издание традиционных литературных текстов, можно рассматривать как своего рода консервативную образовательную программу, которая служила также и предлогом для сопротивления давлению со стороны прогрессистов. Во-вторых, официальная идеологическая программа реконструкций всегда выстраивала строителей памятников и колониальных туземцев в некоторого рода иерархию. В ряде случаев, как, например, до 30-х годов нашего века в Голландской Ост-Индии, муссировалась идея, что строители на самом деле не принадлежали к той «расе», к которой принадлежат местные жители (и что ими были «в действительности» выходцы из Индии)[421]. В других случаях, как, например, в Бирме, воображение рисовало образ векового упадка, из-за которого нынешнее коренное население уже неспособно к великим деяниям своих предполагаемых предков. Представленные в этом свете, реконструируемые памятники, противостоя окружающей сельской нищете, как будто говорили коренным жителям: само наше присутствие показывает, что вы всегда были (или давно уже стали) неспособными ни к величию, ни к самоуправлению.

Третья причина интересует нас больше, и она теснее связана с картой. Ранее, обсуждая «историческую карту», мы уже увидели, что колониальные режимы начали связывать себя в такой же мере с древностью, как и с завоеванием, руководствуясь первоначально беззастенчиво макиавеллианскими мотивами своей легализации. Однако со временем откровенно грубых речей о праве завоевывать становилось все меньше и меньше, и все больше усилий направлялось на создание альтернативных легитимностей. Множилось число европейцев, родившихся в Юго-Восточной Азии и склонных считать ее своей родиной. Монументальная археология, все больше связываясь с туризмом, позволяла государству предстать в роли защитника обобщенной, но в то же время местной Традиции. Старые священные места должны были быть инкорпорированы в карту колонии, а их древний престиж (который в случае его исчезновения, как часто и обстояло дело, государство было призвано возродить) на картографов. Эту парадоксальную ситуацию прекрасно иллюстрирует тот факт, что восстановленные памятники часто были окружены изящно выложенными газонами и тут и там неизменно были расставлены полные всевозможных дат пояснительные таблички. Более того, памятники эти следовало держать безлюдными; попасть в них могли только проезжие туристы (и, по мере возможности, там не должно было быть никаких религиозных церемоний или паломничеств). Превращенные таким образом в музеи, они вернулись к жизни в новом качестве — как регалии светского колониального государства.

Но, как было отмечено выше, характерной особенностью инструментов этого светского государства была бесконечная воспроизводимость, ставшая возможной в техническом плане благодаря печати и фотографии, а в политико-культурном плане — благодаря неверию самих правителей в реальную святость местных достопримечательностей. Повсюду можно вывести своего рода прогрессию: (1) Увесистые, технически изощренные археологические отчеты, набитые десятками фотографий, в которых фиксируется процесс воссоздания конкретных, особых руин; (2) Роскошные книги для массового потребления со множеством вклеенных иллюстраций, на которых изображаются все основные достопримечательности, реконструированные в пределах колонии (тем лучше, если, как в Нидерландской Индии, имелась возможность сопоставить индусско-буддийские храмы с

восстановленными исламскими мечетями)[422]. Благодаря печатному капитализму возникает своего рода художественная перепись государственного наследия, которую подданные государства могут купить, хотя и за немалые деньги; (3) Общая логотипизация, ставшая возможной благодаря описанным выше процессам профанирования. Примером этой стадии являются почтовые марки с характерными для них сериями, посвященными тропическим птицам, фруктам, фауне — а почему бы также и не памятникам? Той же логике подчинены почтовые открытки и школьные учебники. Отсюда всего один шаг до рынка: отеля «Паган», жареных цыплят по-боробудурски и т. д.

Хотя такой тип археологии, достигший зрелости в эпоху механического воспроизведения, был в основе своей политическим, он был политическим на столь глубоком уровне, что почти никто, включая персонал колониального государства (который к 30-м годам нашего века почти везде в Юго-Восточной Азии на 90 процентов был туземным), этого даже не осознал. Он превратился в нечто совершенно заурядное и повседневное. Но именно в бесконечной каждодневной воспроизводимости этих регалий проявляло себя реальное могущество государства.

Вероятно, нет ничего особенно удивительного в том, что обретшие независимость государства, многое позаимствовав у своих колониальных предшественников, унаследовали и эту форму политической музеизации. Например, 9 ноября 1968 г. в рамках торжеств, посвященных 15-й годовщине независимости Камбоджи, Народом Сианук выставил в национальном спортивном комплексе в Пномпене большую копию ангорского храма Байон из дерева и папье-маше[423]. Копия была исключительно грубой и неточной, но благодаря логотипизации, произошедшей в колониальную эпоху, послужила своей цели: мгновенной узнаваемости. «Ах, наш Байон!» — но уже без какого-либо упоминания о его французских колониальных реставраторах. Реконструированный французами Ангор-Ват, опять-таки в форме «картинки-загадки», стал, как уже говорилось в главе 9, основным символом в череде сменявших друг друга флагов роялистского режима Сианука, милитаристского режима Лон Нола и якобинского режима Пол Пота.

Удивительнее выглядят свидетельства такого наследования на более массовом уровне. Ярким примером служит серия живописных полотен с изображением эпизодов национальной истории, заказанная в 50-е годы министерством образования Индонезии. Эти картины должны были быть запущены в массовое производство и разосланы по всем начальным школам; повсюду на стенах школьных классов юные индонезийцы должны были видеть визуальные репрезентации прошлого своей страны. Большинство задних планов было выполнено в предсказуемом сентиментально-натуралистическом стиле коммерческого искусства начала XX в., человеческие же фигуры были взяты либо с музейных диорам колониальной эпохи, либо из псевдоисторических представлений народного театра ваянг оранг. Наибольший интерес из всей серии представляла, однако, картина, предлагавшая детям репрезентацию Боробудура. Этот колоссальный памятник с его 504 образами Будды, 1460 сюжетными и 1212 декоративными каменными плитами есть поистине фантастическая сокровищница древней яванской скульптуры. Однако, досточтимый художник изображает это чудо в период его величия (IX в.) поучительно своевольно. Боробудур предстает полностью выкрашенным в белый цвет; в нем нет и следа какой бы то ни было скульптуры. Он окружен ухоженными лужайками и тенистыми аллеями — и нигде ни единой души[424].

Кто-то, возможно, сказал бы, что эта пустынность отражает неловкость современного мусульманского художника перед лицом древней буддийской реальности. Однако я предполагаю, что на самом деле мы видим здесь прямое наследие колониальной археологии: Боробудур как государственную регалию и как логотип «ну, конечно же, это он». Боробудур, еще более могущественный в качестве знака национальной идентичности в силу осознания каждым человеком местоположения этого Боробудура в бесконечном ряду идентичных Боробудуров.

Таким образом, в переписи, карте и музее, тесно взаимно связанных друг с другом, ярко проявляется особый стиль представления позднеколониальным государством своих владений. «Основой» этого стиля была тотализирующая классификационная разметка, которую можно было с бесконечной гибкостью применять ко всему, что попадало под реальный или предполагаемый контроль государства: к народам, регионам, религиям, языкам, продуктам, памятникам и т. д. Следствием этой разметки была способность всегда про все что угодно сказать, что вот это, именно это, а не то, и что место этому именно здесь, а не там. Все было разграниченным, определенным и, следовательно, в принципе исчислимым. (В смешные классификационные и подклассификационные учетные ячейки, озаглавленные «другое», упрятывались с помощью восхитительной бюрократической *trompe l'oeil*[425] все аномалии, присутствующие в реальной жизни.) «Тканью» же, которая накладывалась на указанную «основу», было то, что можно назвать сериализацией: допущение, что мир состоит из воспроизводимых множественных чисел. Частное всегда выступало как временный представитель ряда, и обращаться с ним следовало соответственно. Поэтому колониальное государство вообразило китайский ряд раньше, чем китайца, а националистический ряд — еще до появления националистов.

Еще никто не нашел для этой структуры разума лучшую метафору, чем великий индонезийский романист Прамудья Ананта Тур, назвавший заключительный том своей тетралогии о колониальном периоде «*Rumah Kasa*» — «Стеклянный дом». Это не менее могущественный образ тотальной просматриваемости, чем «Паноптикум» Бентама. Ведь дело не просто в том, что колониальное государство стремилось создать под своим контролем идеально просматриваемый человеческий ландшафт; эта «просматриваемость» требовала, чтобы у каждого человека и каждой вещи был (так сказать) серийный номер[426]. Этот стиль воображения возник не из воздуха. Он был продуктом технологических достижений навигации, астрономии, часового дела, топографии, фотографии и печати, не говоря уж о глубокой движущей силе капитализма.

Итак, карта и перепись сформировали грамматику, которая должна была при надлежащих условиях сделать возможными «Бирму» и «бирманцев», «Индонезию» и «индонезийцев». Однако конкретные воплощения этих возможностей, которые и сегодня, спустя много лет после исчезновения колониального государства, живут полноценной жизнью, были очень многим обязаны тому, как представляло себе колониальное государство историю и власть. В доколониальной Юго-Восточной Азии археология была немислимым занятием; в неколонизированном Сиаме она была воспринята с большим опозданием и с оглядкой на созданный колониальным государством образец. Археология создавала серийный ряд «древние памятники», разбиваемый на сегменты с помощью классификационных географическо-демографических ячеек «Нидерландская Индия» и «Британская Бирма».

Каждая руина, будучи воспринята в рамках этого профанного ряда, становилась доступной для обследования и бесконечного копирования. В то время как археологическая служба колониального государства создавала техническую возможность монтировать этот ряд в картографической и фотографической форме, само государство могло рассматривать эти серии, вплоть до исторических времен, как альбомы с изображениями своих предков. Данный конкретный Боробудур, или конкретный Паган никогда не представляли особого интереса для государства; с ними его связывала только археология. Воспроизводимые серийные ряды, однако, создавали ту историческую глубину поля, которую с легкостью унаследовали постколониальные правопреемники колониальных государств. Конечным логическим результатом был логотип (будь то «Пагана» или «Филиппин» — почти без разницы), который самой своей незаполненностью, бесконтекстностью, визуальной запоминаемостью и бесконечной воспроизводимостью в любом направлении соединил перепись и карту в едином нерасторжимом объятии.

11. Память и забвение

Пространство новое и старое

Нью-Йорк, Нуэво-Леон, Нувель Орлеан, Нова-Лижбоа, Новый Амстердам. Уже в XVI в. у европейцев стала складываться странная привычка использовать для именовании отдаленных мест — сначала в Америках и в Африке, а затем в Азии, Австралии и Океании — новые версии «старых» (тем самым) топонимов, обозначающих их родные места. Более того, они сохраняли эту традицию даже тогда, когда эти места переходили в руки других имперских хозяев. Так, Nouvelle Orléans без лишнего шума превратился в New Orlean [Новый Орлеан], а Nieuw Zeeland — в New Zealand [Новую Зеландию].

Вообще говоря, в самом именовании политических или религиозных мест как «новых» не было ничего особенно нового. В Юго-Восточной Азии, например, можно найти вполне древние города, названия которых тоже включают слово, обозначающее новизну: Чиангмай (Новый Город), Кота-Бару (Новый Город), Пеканбару (Новый Рынок). Но в этих названиях слово «новый» неизменно имеет значение «преемника», или «наследника» чего-то исчезнувшего. «Новое» и «старое» соединяются в них диахронически, и первое всегда как будто спрашивает двусмысленного благословения у умерших. Что поражает в американских именовании XVI–XVIII вв., так это то, что «новое» и «старое» понимались в них синхронически, как сосуществующие в гомогенном, пустом времени. Бискайя соседствует здесь с Нуэва-Бискайей, а Нью-Лондон — с Лондоном: это скорее идиома братского соревнования, чем наследования.

Исторически эта новая синхроническая новизна могла возникнуть лишь тогда, когда у достаточно больших групп людей сформировалась способность к восприятию себя как групп, живущих параллельной жизнью с другими достаточно большими группами людей — и пусть даже никогда с ними не встречавшихся, но наверняка движущихся по общей с ними траектории. За три столетия, прошедших с 1500 по 1800 гг., накопление технических нововведений в областях кораблестроения, мореплавания, часового дела и картографии, пройдя через горнило печатного капитализма, сделало возможным такого рода воображение[427]. Открылась мыслимая возможность жить на перуанских нагорьях, в пампасах Аргентины или близ гаваней «Новой» Англии и вместе с тем чувствовать свою связь с определенными регионами или сообществами Англии или Иберийского полуострова, удаленными на многие тысячи миль. Человек мог в полной мере сознавать, что разделяет с ними (в разной степени) общие язык и религиозное вероисповедание, общие обычаи и традиции, но без великого ожидания будущей встречи со своими партнерами[428].

Чтобы это чувство параллельности, или одновременности, не только возникло, но и привело к масштабным политическим последствиям, необходимо было, чтобы параллельные группы разделяло большое расстояние и чтобы новейшая из них обладала большой численностью,

была закреплена на земле и строго подчинялась старшей. В Америке эти условия оказались соблюдены, как никогда раньше. Прежде всего, широта Атлантического океана и разительное отличие географических условий по разные его стороны сделали невозможной ту постепенную абсорбцию населения в более широкие политико-культурные единицы, благодаря которой Las Espanas превратились в Espana, а Шотландия волилась в состав Соединенного Королевства. Во-вторых, как было отмечено в главе 4, европейская миграция в Америке достигла поистине потрясающих масштабов. К концу XVIII в. в 16 900-тысячном населении Западной империи испанских Бурбонов было не менее 3200 тыс. «белых» (и среди них — не более 150 тыс. peninsulares)[429]. Сама численность этого иммигрантского сообщества не меньше, чем его подавляющее военное, экономическое и техническое превосходство над коренными населением, гарантировала сохранение его культурной сплоченности и локальной политической власти[430]. В-третьих, имперская метрополия избавилась от огромных бюрократических и идеологических аппаратов, которые на протяжении многих столетий помогали ей навязывать свою волю креолам. (Стоит задуматься об одних лишь проблемах материально-технического обеспечения, с этим связанных, как сразу производит впечатление способность Лондона и Мадрида вести длительные контрреволюционные войны против мятежных американских колонистов.)

О новизне всех этих условий говорит то, насколько резко они отличаются от великих (и примерно тогда же происходивших) китайских и арабских миграций в Юго-Восточную Азию и Восточную Африку. Эти миграции редко были «спланированы» метрополией и еще реже порождали стабильные отношения субординации. В случае китайцев единственной неявной параллелью служит необычайная серия дальних путешествий через Индийский океан, предпринятых в начале XV в. под предводительством блистательного дворцового евнуха адмирала Чжэн Хэ. Целью этих отважных экспедиций, организованных по распоряжению императора Юн-лэ, было установление монополии императорского двора на внешнюю торговлю с Юго-Восточной Азией и регионами, находившимися еще дальше на запад, а также оказание противодействия ограблениям частных китайских торговцев[431]. К середине века провал этой политики стал очевиден; с этого времени династия Мин прекратила заморские путешествия и делала все от нее зависящее, чтобы не допустить эмиграции из Среднего государства. Когда в 1645 г. Южный Китай оказался под властью Маньчжурской династии, это вызвало широкий поток беженцев, направлявшихся в Юго-Восточную Азию, для которых какие бы то ни было политические связи с новой династией были немыслимы. Последующая политика династии Цин существенно не отличалась от позднеминской. В частности, в 1712 г. указом императора Канси любая торговля с Юго-Восточной Азией была запрещена; кроме того, в указе говорилось, что императорская канцелярия «обратится к иноземным державам с просьбой возвращать китайцев, покинувших пределы страны, на родину, дабы они могли быть казнены»[432]. Последняя великая волна заморской миграции пришлась на XIX в., когда династия вошла в период распада, а в колониальной Юго-Восточной Азии и Сиаме сложился огромный спрос на неквалифицированную китайскую рабочую силу. Поскольку практически все мигранты были политически отрезаны от Пекина и, вдобавок к тому, были людьми неграмотными, говорившими на взаимно непонятных языках, они либо в большей или меньшей степени абсорбировались в местные культуры, либо полностью переходили в подчинение к господствующим европейцам[433].

Что касается арабов, то большинство их миграций происходило из Хадрамаута, который никогда — ни в эпоху Османской империи, ни во времена правления Великих Моголов — не был метрополией. Предприимчивые индивиды могли найти способы основать локальные княжества, как это сделал, например, один купец, основавший в 1772 г. королевство Понтианак на Западном Борнео; однако он женился на местной девушке, вскоре утратил свою «арабскость», если даже не исламскую веру, и все время оставался подчинен разраставшимся в Юго-Восточной Азии голландской и английской империям, а не какой-либо ближневосточной державе. В 1832 г. Сейид Саид, султан Маската, создал на побережье Восточной Африки мощную военную базу и обосновался на острове Занзибар, сделав его центром процветающего хозяйства по производству гвоздики. Однако англичане, применив военную силу, вынудили его разорвать прежние связи с Маскатом[434]. Таким образом, ни арабам, ни китайцам — несмотря на совершаемые ими примерно в те же столетия, что и европейцами, массовые морские экспедиции — не удалось создать сплоченные, богатые, сознающие себя креольскими сообщества, подчиненные центру, которым была бы великая метрополия. Поэтому мир так и не увидел подъем Новых Баср или Новых Уханей.

Двойственность Америк и ее причины, схематично описанные выше, помогают объяснить, почему национализм появился сначала в Новом Свете, а не в Старом[435]. Кроме того, они высвечивают две характерные особенности революционных войн, бушевавших в Новом Свете в период между 1776 и 1825 гг. С одной стороны, ни у кого из креольских революционеров и в мыслях не было оставить империю невредимой, за исключением такого переупорядочения ее внутреннего распределения власти, которое перевернуло бы прежние отношения подчинения, перенеся метрополию с европейского берега на американский[436]. Иными словами, цель была не в том, чтобы Новый Лондон превзошел, ниспроверг или разрушил Старый, а в том, чтобы и далее сохранить их параллельность. (Насколько нов был этот стиль мышления, можно увидеть из истории прежних империй периода упадка, где часто мечтали о замещении старого центра.) С другой стороны, хотя эти войны несли колоссальные страдания и характеризовались настоящим варварством, ставки по какому-то странному стечению обстоятельств были довольно низкими. Ни в Северной, ни в Южной Америке креолам не было нужды бояться физического истребления или обращения в рабство, в отличие от многих других народов, оказавшихся на пути прущего напролом европейского империализма. Ведь, в конце концов, они были «белыми», христианами, говорили на испанском или английском языке; к тому же они были посредниками, необходимыми метрополиям для удержания под европейским контролем экономического богатства западных империй. Стало быть, они представляли собой значимую внеевропейскую группу, которая находилась в подчинении у Европы, но которой в то же время не было нужды безрассудно Европу бояться. Революционные войны, сколь бы они ни были жестокими, все же несли в себе и нечто обнадеживающее, в том смысле, что это были войны между родственниками.[437] «Семейные» узы давали гарантию того, что по прошествии периода взаимной ожесточенности между бывшими метрополиями и новыми нациями могли быть восстановлены тесные культурные, а иногда политические и экономические связи.

Время новое и старое

Если для креолов Нового Света странные топонимы, рассмотренные выше, образно репрезентировали их зарождающуюся способность представлять самих себя в воображении как сообщества, параллельные и сопоставимые с сообществами Европы, то чрезвычайные события последней четверти XVIII в. почти мгновенно придали этой новизне абсолютно новый смысл. Первым в ряду этих событий было, несомненно, принятие в 1776 г. Декларации независимости (тринадцати колоний) вкупе с успешной военной защитой этой декларации в последующие годы. Эта независимость (а вместе с тем и то обстоятельство, что это была независимость республики) переживалась как нечто абсолютно беспрецедентное, но в то же время, в силу самого ее существования, совершенно резонное. Поэтому когда в 1811 г. история предоставила венесуэльским революционерам возможность разработать проект конституции Первой Венесуэльской Республики, они не увидели ничего зазорного в том, чтобы позаимствовать слово в слово конституцию Соединенных Штатов Америки[438]. Ибо то, что написали люди в Филадельфии, выглядело в глазах венесуэльцев не чем-то сугубо североамериканским, а скорее чем-то таким, в чем присутствовала универсальная истина и ценность. Вскоре после того, в 1789 г., бурные события в Новом Свете получили параллель в Старом Свете в лице вулканического извержения Французской революции[439].

Сегодня трудно воссоздать в воображении те условия жизни, в которых нация переживалась как нечто совершенно новое. Но именно так и обстояло дело в ту эпоху. Декларация независимости 1776 г. не содержит абсолютно никаких ссылок ни на Христофора Колумба, ни на Роанок, ни на отцов-пилигримов; в ней не приводится никаких оснований, призванных как-либо оправдать независимость «исторически», в смысле превознесения древности американского народа. Что удивительно, ни разу даже не упоминается американская нация. Глубокое ощущение того, что происходит радикальный разрыв с прошлым — «открывшийся разрыв в континууме истории»? — быстро распространилось вширь. Ничто так ярко не иллюстрирует эту интуицию, как принятое 5 октября 1793 г. Национальным конвентом решение отказаться от древнего христианского календаря и начать новую мировую эпоху с Первого Года, приняв за точку отсчета свержение старого режима и провозглашение 22 сентября 1792 г. Республики[440]. (Ни одна последующая революция не обладала до такой степени этой возвышенной уверенностью в новизне, и не в последнюю очередь потому, что Французскую революцию всегда мыслили как предшественницу.)

Из этого глубокого ощущения новизны родилось также выражение *nuestra santa revolución* [наша святая революция] — замечательный неологизм, придуманный Хосе Мариа Морелосом-и-Павоном (провозгласившим в 1813 г. Мексиканскую Республику) незадолго до того, как его казнили испанцы[441]. Оттуда же и указ Сан-Мартина 1821 г., чтобы «в будущем местных жителей не называли более индейцами или туземцами; они дети и граждане Перу и впредь будут известны как перуанцы»[442]. Эта сентенция делает с «индейцами» и/или «туземцами» то же самое, что сделал Конвент в Париже с христианским календарем: он упразднил обесчещенное именование старого времени и открыл совершенно новую эпоху. Выражения «Перуанцы» и «Первый Год», стало быть, помечают

риторической фигурой глубокий разрыв с существующим миром.

Но долго так продолжаться не могло, причем по тем же причинам, которые в первую очередь ниспровергли чувство разрыва. В последней четверти XVIII века одна только Британия производила в год от 150 до 200 тысяч наручных часов, значительная часть которых шла на экспорт. А в целом по Европе их производство, по всей видимости, приближалось к 500 тысячам штук ежегодно[443]. Периодическая пресса стала к тому времени привычным элементом городской цивилизации. Стал таковым и роман с его впечатляющими возможностями для представления одновременных действий в гомогенном пустом времени[444]. Вселенский хронометраж, благодаря которому стали мыслимы наши синхронические трансокеанские спаривания, все более переживался как источник всецело посюстороннего понимания социальной причинности в виде последовательного ряда, или серии, и это мироощущение стремительно закрепляло свою власть над западным воображением. Отсюда понятно, почему не прошло и двух десятилетий после Провозглашения Первого Года, как стали учреждаться первые академические кафедры Истории: в 1810 г. в Берлинском университете, а в 1812 г. в наполеоновской Сорбонне. Ко второй четверти XIX века История официально утвердилась в положении «образовательной дисциплины», окруженной целой свитой профессиональных журналов[445]. Первый Год очень быстро уступил место 1792 году от Р. Х., а революционные разрывы 1776 и 1789 гг. стали изображаться как вкрапления в поступательный ход истории и, тем самым, как исторические прецеденты и модели[446].

Следовательно, перед участниками националистических движений, так сказать, «второго поколения», т. е. движений, развившихся в Европе в промежутке с 1815 по 1850 гг., также как и перед поколением, унаследовавшим независимые национальные государства обеих Америк, закрылась возможность пережить «еще раз / тот первый чудесный беспечный экстаз» своих революционных предшественников. По разным причинам и с разными последствиями эти две группы открыли, тем самым, процесс генеалогического прочтения национализма — прочтения его как выражения поступательно непрерывной исторической традиции.

Новые национализмы в Европе почти сразу же стали представлять себя в своем воображении «пробудившимися ото сна»; и этот троп был Америкам совершенно чужд. Уже в 1803 г. (как мы увидели в главе 5) молодой греческий националист Адамандиос Кораис рассказывал сочувствующей ему парижской аудитории: «Впервые в истории [греческая] нация обозревает отвратительное зрелище собственного невежества и впадает в трепет, отмеряя глазом расстояние, отделяющее ее от славы ее предков». Здесь мы имеем идеальный пример перехода от Нового Времени к Старому. В слове «впервые» все еще слышится отзвук разрывов 1776 и 1789 годов, но влюбленные глаза Кораиса обращены не вперед, не в сан-мартиновское будущее; они с трепетным восторгом оглядываются назад, на славу предков. Потребовалось совсем немного времени, чтобы эта опьяняющая двойственность постепенно исчезла, а на ее место пришло модульное «непрерывное» пробуждение от хронологически отмеренного, стилизованного в духе А. Д. дремотного оцепенения: гарантированное возвращение к первоизданной сущности.

В удивительную популярность этого тропа, несомненно, внесли свою лепту много разных элементов[447]. Исходя из наших задач, упомяну только два. В первую очередь, этот троп вобрал в себя то чувство параллельности, из которого родились американские национализмы и которое было колоссально усилено в Европе успехом американских националистических революций. Этим, видимо, и объясняется то странное обстоятельство, что националистические движения вырвались на поверхность в цивилизованном Старом Свете настолько явно позже, чем в варварском Новом.[448] Истолкованный как позднее пробуждение, хотя бы и спровоцированное издали, этот факт открыл таившуюся за вековым сном бездонную древность. Во-вторых, этот троп обеспечил решающую по значимости метафорическую связь между новоевропейскими национализмами и языком. Как уже отмечалось, основные государства Европы XIX века были обширными многоязычными политиями, границы которых почти никогда не совпадали с границами языковых сообществ. Большинство их образованных членов унаследовали со времен средневековья привычку мыслить некоторые языки — если уж не латинский, то хотя бы французский, английский, испанский или немецкий — как языки цивилизации. Богатые голландские бюргеры XVIII века гордились тем, что говорили у себя дома только по-французски; немецкий был языком воспитания во многих западных районах Российской империи не меньше, чем в «чешской» Богемии. До конца XVIII века никто даже не помышлял, что эти языки принадлежат какой-то территориально определенной группе. Однако в скором времени — по причинам, которые мы коротко описали в главе 3, — «нецивилизованные» народные языки стали выполнять такую же политическую функцию, какую раньше выполнял Атлантический океан: функцию «отделения» подчиненных национальных сообществ от древних династических государств. А так как в авангарде большинства европейских массовых националистических движений стояли образованные люди, зачастую не привыкшие пользоваться этими народными языками, то данную аномалию необходимо было как-то объяснить. Ничто так не подходило для этой цели, как «сон», ибо он позволял этим интеллигенциям и буржуазиям, начинавшим сознавать себя чехами, венграми или финнами, представить свое изучение чешского, венгерского или финского языка, фольклора и музыки как «новое открытие» чего-то такого, что в глубине души все всегда знали. (К тому же, как только национальность начинает мыслиться в категориях преемственности и непрерывности, мало что выглядит более глубоко укорененным в истории, чем языки, истоки которых никогда невозможно датировать[449].)

В Америке дело обстояло иначе. С одной стороны, к 30-м годам XIX века национальная независимость почти везде получила международное признание. Тем самым она превратилась в наследие и — в качестве наследия — вынуждена была войти в генеалогический ряд. С другой стороны, развивающиеся в Европе новшества еще не были доступны. В американских националистических движениях вопрос о языке никогда не ставился. Как мы увидели, именно наличие общего с метрополией языка (а также общей религии и общей культуры) сделало возможными первые опыты национального воображения. Есть, разумеется, несколько любопытных случаев, в которых можно разглядеть ранние проявления своего рода «европейского» мышления. Например, «Американский словарь английского языка» Ноа Уэбстера 1828 г. издания (т. е. «второго поколения») был задуман с целью официально санкционировать американский язык как язык, чья родословная отлична от родословной английского языка. В Парагвае сложившаяся в XVIII веке среди иезуитов традиция пользоваться языком гуарани дала возможность этому

радикально испанскому «туземному» языку стать национальным языком в годы долгого, отравленного ксенофобией диктаторского правления Хосе Гаспара Родригеса де Франсиа (1814–1840). Однако в целом любая попытка придать национальности историческую глубину с помощью языковых средств упиралась в непреодолимые затруднения. Практически все креолы институционально привязывались (через школы, печатные издания, административные привычки и т. д.) к европейским языкам, а не к аборигенным языкам Америки. Любое преувеличенное внимание к языковым родословным угрожало ударить прежде всего по той «памяти о независимости», которую важнее всего было сохранить.

Решение, в конце концов ставшее пригодным как для Нового, так и для Старого Света, было найдено в Истории — или, скорее, Истории, особым образом прописанной. Мы уже заметили, с какой скоростью вслед за объявлением Первого Года последовало учреждение кафедр истории. Как отмечает Хейден Уайт, не менее поразительно, что все пять ведущих гениев европейской историографии родились в четверть столетия, последовавшую за разрывом времени Национальным Конвентом: Ранке — в 1795, Мишле — в 1798, Токвиль — в 1805, а Маркс и Буркхардт — в 1818[450]. И, наверное, естественно, что из этих пяти именно Мишле, назначивший сам себя историком Революции, дает нам самый яркий пример рождения национального воображения, ибо он первый стал сознательно писать от лица умерших[451]. Вот характерная выдержка из его труда:

“ «Oui, chaque mort laisse un petit bien, sa mémoire, et demande qu'on la soigne. Pour celui qui n'a pas d'amis, il faut que le magistrat y supplée. Car la loi, la justice, est plus sûre que toutes nos tendresses oublieuses, nos larmes si vite séchées. Cette magistrature, c'est l'Histoire. Et les morts sont, pour dire comme le Droit romain, ces miserables personae dont le magistrat doit se préoccuper. Jamais dans ma carrière je n'ai pas perdu de vue ce devoir de l'historien. J'ai donné a beaucoup de morts trop oubliés l'assistance dont moi-même j'aurai besoin. Je les ai exhumés pour une seconde vie... Ils vivent maintenant avec nous qui nous sentons leurs parents, leurs amis. Ainsi se fait une famille, une cité commune entre les vivants et les morts»[452].

Здесь и в других местах Мишле ясно дал понять, что те, кого он выводит из могил, — это никоим образом не случайное собрание забытых, безымянных умерших. Это те, чьи жертвы, принесенные на протяжении Истории, сделали возможным разрыв 1789 г. и осознанное появление французской нации, пусть даже сами эти жертвы и не воспринимались как таковые теми, кто их принес. В 1842 г. он написал об этих умерших: «Il leur faut un Oedipe qui leur explique leur propre énigme dont ils n'ont pas eu le sens, qui leur ap-prenne ce que voulaient dire leurs paroles, leurs actes, qu'ils n'ont pas compris» [«Им нужен Эдип, который бы разъяснил им их действительную тайну, смысла которой они сами не разумели, который бы поведал им, что подразумевали на самом деле их речи и их поступки, коих они сами не понимали»][453].

Эта формулировка, вероятно, беспрецедентна. Мишле не только покусился на право говорить от имени колоссального числа анонимных умерших, но и авторитетно заявил, что может сказать, о чем они «на самом деле» думали и чего они «на самом деле» хотели,

поскольку сами они этого «не понимали». Отныне молчание умерших перестало быть помехой для эксгумации их глубочайших желаний.

В русле этого умонастроения все больше и больше националистов «второго поколения» в обеих Америках, да и повсюду, учились говорить «от лица» умерших, установление языковой связи с которыми было невозможным или нежелательным. Это «чревовещание наоборот» помогло расчистить дорогу сознательному *indigenismo*, особенно в Южных Америках. Пограничный случай: мексиканцы, говорящие по-испански «от лица» доколумбовых «индейских» цивилизаций, языков которых они не понимают[454]. Насколько революционна была такая эксгумация, становится предельно ясно при сопоставлении ее с формулировкой Фермина де Варгаса, приведенной в главе 2. Ибо там, где Фермин все еще бодро рассуждал об «истреблении» живых индейцев, многие из его политических внуков стали одержимы «воспоминаниями» о них и даже «говорением от их лица» — возможно, именно потому, что к тому времени те зачастую были уже истреблены.

Удостоверяющее подтверждение братоубийства

Удивительно, что во «второпоколенческих» формулировках Мишле в центре внимания всегда оказывается эксгумация людей и событий, над которыми нависла угроза забвения[455]. Он не видит нужды думать о «забывании». Однако когда в 1882 г. — спустя более века после принятия Декларации независимости в Филадельфии и спустя восемь лет после смерти самого Мишле — Ренан опубликовал *Qu'est-ce qu'une nation?* его главной заботой стала именно необходимость забвения. Давайте еще раз посмотрим на формулировку, которая уже приводилась нами ранее в главе 1:

“ «Or l'essence d'un nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses... Tout citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélémy, les massacres du Midi au XIII^e siècle» [«А сущность нации в том и состоит, что все индивиды, ее составляющие, имеют между собой много общего и много разъединяющего их в то же время забыли... Всякий французский гражданин должно быть позабыл ночь Св. Варфоломея, резни на юге в XIII ст.»][456].

На первый взгляд, эти два предложения могут показаться прямолинейными[457]. Тем не менее, при малейшем размышлении обнаруживается, насколько они на самом деле необычны. Замечаешь, например, что Ренан не видел никаких причин объяснять своим читателям, что означают выражения «la Saint-Barthélémy» или «les massacres du Midi au XIII^e siècle». А кто еще, как не «французы», сразу, так сказать, сообразил бы, что за выражением «la Saint-Barthélémy» скрывается жестокий антигугенотский погром, устроенный 24 августа 1572 г. монархом Карлом IX из династии Валуа и его матерью-флорентийкой, а за «les massacres du Midi au XIII^e siècle» — истребление альбигойцев на обширных просторах от Пиренеев до Южных Альп, спровоцированное Иннокентием III, одним из гнуснейших

виновников в когорте преступных римских пап? Точно так же Ренан не видел ничего необычного в том, чтобы допустить в умах своих читателей наличие таких «воспоминаний», хотя сами эти события произошли соответственно 300 и 600 лет назад. Что еще поражает, так это категорический синтаксис выражения *doit avoir oublié* (не *doit oublier*) — «обязан уже позабыть», — навевающий своим угрожающим тоном налоговых кодексов и законов о воинской повинности мысли о том, что «уже позабыть» древние трагедии является ныне первейшим гражданским долгом. Таким образом, читателям Ренана предлагалось «уже позабыть» то, что они, исходя из слов самого Ренана, естественным образом помнили!

Как объяснить этот парадокс? Можно начать с наблюдения, что французское существительное единственного числа «*la Saint-Barthélémy*» включает в единое целое убийц и убитых — т. е. католиков и протестантов, которые играли общую локальную роль в широкомасштабной нечестивой Священной войне, охватившей в XVI веке всю Центральную и Северную Европу, и уж точно не мыслили себя уютно собранными в категорию «французы». Аналогичным образом, выражение «массовые убийства на Юге в XIII столетии» оставляет жертв и убийц не названными, пряча их за чистой французскостью «Юга». Читателям Ренана не нужно напоминать, что большинство альбигойцев, погибших в этих расправах, говорили на провансальском и каталанском языках, а их убийцы были родом из самых разных уголков Западной Европы. Следствием этих образных оборотов речи становится изображение отдельных эпизодов масштабных религиозных конфликтов средневековой и раннесовременной Европы как удостоверяюще братоубийственных войн между — кем же еще? — конечно, братьями-французами. Мы можем быть уверены, что, предоставленные самим себе, французские современники Ренана в подавляющем большинстве, скорее всего, так никогда бы и не услышали ни о «*la Saint-Barthélémy*», ни о «*les massacres du Midi*». А следовательно, здесь мы имеем дело с систематической историографической кампанией, развернутой государством главным образом через государственную систему образования, задачей которой было «напоминание» каждой молодой француженке и каждому молодому французу о серии древних массовых убийств, которые запечатлены теперь в сознаниях как «родовая история». Вынуждение «уже забыть» те трагедии, в непрестанном «напоминании» о которых человек нуждается, оказывается типичным механизмом позднейшего конструирования национальных генеалогий. (Поучительно, что Ренан не говорит о том, что французский гражданин обязан «уже забыть» Парижскую коммуну. В 1882 г. память о ней была все еще реальной, а не мифической, причем достаточно болезненной, чтобы затруднить прочтение ее как «удостоверяющего братоубийства».)

Не нужно и говорить, что во всем этом не было и нет ничего сугубо французского. Огромная педагогическая индустрия ведет неустанную работу, обязывая молодых американцев помнить/забывать военные действия 1861–1865 гг. как великую «гражданскую» войну между «братьями», а не между двумя суверенными нациями-государствами, какими они короткое время были. (Тем не менее, мы можем быть уверены, что если бы вдруг Конфедерации удалось отстоять свою независимость, то эту «гражданскую войну» заменило бы в памяти что-нибудь совершенно небратское.) Учебники английской истории предлагают вниманию сбивающее с толку зрелище великого Отца-основателя, которого каждого школьника учат называть Вильгельмом Завоевателем. Тому же ребенку не сообщают, что Вильгельм не говорил по-английски и, по правде говоря, вообще не мог на

нем говорить, поскольку английского языка в то время еще не было; не говорят ребенку и о том, «Завоевателем» чего он был. Ибо единственно мыслимым современным ответом было бы: «Завоевателем англичан», — что превратило бы старого норманнского хищника во всего лишь более удачливого предшественника Наполеона и Гитлера. Следовательно, определение «Завоеватель» функционирует в качестве такого же эллипса, что и «la Saint-Barthélémy», напоминая о чем-то таком, что немедленно необходимо забыть. Таким образом, норманн Вильгельм и саксонец Гарольд встречаются в битве при Гастингсе если уж не как танцевальные партнеры, то, по крайней мере, как братья.

Было бы, разумеется, слишком просто приписать эти удостоверяющие древние братоубийства одному только холодному расчету государственных функционеров. На другом уровне они отражают глубокую структурную трансформацию воображения, которую государство вряд ли вообще сознавало и над которой оно имело и до сих пор имеет лишь крайне незначительную власть. В 30-е годы люди многих национальностей пошли воевать на Иберийский полуостров, поскольку увидели там арену, где были поставлены на карту глобальные исторические силы и причины. Когда долголетний режим Франко построил Долину Павших, он ограничил право членства в этом угрюмом некрополе теми, кто, в его глазах, положил жизнь во всемирной борьбе с большевизмом и атеизмом. Однако на окраинах государства уже появлялась «память» об «испанской» гражданской войне. Только после смерти коварного тирана и последовавшего затем поразительно ровного перехода к буржуазной демократии — в котором она сыграла решающую роль — эта «память» стала официальной. Почти так же и колоссальная классовая война, бушевавшая с 1918 до 1920 гг. на просторах от Памира до Вислы, стала вспоминаться/ забываться в советском кино и литературе как «наша» гражданская война, хотя советское государство в целом придерживалось ортодоксального марксистского прочтения этой борьбы.

В этом отношении креольские национализмы обеих Америк особенно для нас поучительны. Ибо, с одной стороны, американские государства были на протяжении многих десятилетий слабы, всерьез децентрализованы и весьма скромны в своих просветительских амбициях. С другой стороны, американские общества, в которых «белые» поселенцы оказались противопоставлены «черным» рабам и наполовину истребленным «туземцам», страдали от такого внутреннего раскола, какой Европе и не снился. Тем не менее, воображение этого братства, без которого не может родиться и подтверждение братоубийства, проявляется довольно рано, причем не без курьезной аутентичной массовости. На примере Соединенных Штатов Америки этот парадокс особенно хорошо виден.

В 1840 г., в разгар жестокой восьмилетней войны с семинолами во Флориде (и в то самое время, когда Мишле вызывал из прошлого своего Эдипа), Джеймс Фенимор Купер опубликовал повесть «Следопыт», четвертый из пяти необычайно популярных рассказов о Кожаном Чулке. В центре этого произведения (и всех других, кроме первого) находится, по выражению Лесли Фидлера, «суровая, внешне почти никак не проявляющаяся, но несомненная любовь» между «белым» лесным человеком Натти Бампо и благородным делаварским вождем Чингачгуком («Чикаго»!)[458]. Вместе с тем, ренановским антуражем их кровного братства являются не кровавые 30-е годы XIX века, а последние забываемые/вспоминаемые годы британского имперского правления. Оба изображаются «американцами», ведущими борьбу за выживание — с французами, их «туземными»

союзниками («чёртовыми минго») и коварными агентами Георга III.

Когда в 1851 г. Герман Мелвилл изобразил Измаила и Квикега уютно расположившимися в одной кровати в гостинице «Китовый фонтан» («Так мы и лежали с Квикегом в медовый месяц наших душ — уютная, любящая чета»), благородный полинезийский дикарь был иронично американизирован следующим образом:

“ «... несомненно, с точки зрения френолога, у него был великолепный череп. Может показаться смешным, но мне его голова напомнила голову генерала Вашингтона с известного бюста. У Квикега был тот же удлинённый, правильный, постепенно отступающий склон над бровями, которые точно так же выдавались вперед, словно два длинных густо заросших лесистых мыса. Квикег представлял собой каннибальский вариант Джорджа Вашингтона»[459].

Осталось лишь Марку Твену в 1881 г., когда «гражданская война» и Прокламация Линкольна об освобождении негров-рабов остались далеко позади, создать первый неизгладимый образ черного и белого как американских «братьев»: Джима и Гека, дружно плывущих по течению широкой реки Миссисипи[460]. Но все это происходит на фоне вспоминаемого/забываемого довоенного времени, в котором черный все еще раб.

Эти поразительные образы братства XIX столетия, «естественным образом» возникающие в обществе, раздираемом предельно жестокими расовыми, классовыми и региональными антагонизмами, столь же ясно, как и все другое, показывают, что в век Мишле и Ренана национализм репрезентировал новую форму сознания: сознание, родившееся в то время, когда нацию уже невозможно было пережить как нечто новое, т. е. тогда, когда волна разрыва с прошлым достигла наивысшей точки.

Биография наций

Все глубинные изменения в сознании в силу самой своей природы несут с собой и характерные амнезии. А из таких забвений в особых исторических обстоятельствах рождаются нарративы. Пережив физиологические и эмоциональные изменения, вызванные процессом полового созревания, невозможно «помнить» сознание времен детства. Как много тысяч дней, прошедших от младенчества до наступления зрелости, уходят за пределы прямо-го воспоминания! Как странно нуждаться в помощи другого, чтобы узнать, что этот голенький карапуз на пожелтевшей фотографии, счастливо развалившийся на пледе или в детской кровати, и есть ты сам. Фотография, славное дитя эпохи механического воспроизводства, — всего лишь самое категоричное в огромном современном скоплении документальных свидетельств (свидетельств о рождении, дневников, табелей успеваемости, писем, медицинских карт и т. д.), которое одновременно регистрирует некоторую кажущуюся непрерывность и подчеркивает ее выпадение из памяти. Из этого отчуждения от прошлого рождается представление об индивидуальности, идентичности (да, ты и этот голый младенец идентичны), о которой, поскольку о ней нельзя «помнить»,

необходимо рассказывать. Несмотря на доказательство биологией того, что за семь лет каждая клетка человеческого тела обновляется, автобиографические и биографические повествования из года в год наводняют рынки печатного капитализма.

Эти нарративы, подобно романам и газетам, рассмотренным в главе 2, помещаются в гомогенное, пустое время. Следовательно, их рамка является исторической, а их фон — социологическим. Именно поэтому так много автобиографий начинаются с описания жизненных обстоятельств родителей и прародителей, относительно которых автобиограф может обладать лишь случайными, текстовыми сведениями; и именно поэтому биограф из всех сил старается зафиксировать календарные, н. э. — шные даты двух биографических событий, о которых сам человек, описываемый в биографии, никогда не может помнить: дня рождения и дня смерти. Ничто так остро не напоминает о современности такого нарратива, как начало Евангелия от Матфея. Ибо евангелист дает нам строгий перечень тридцати мужчин, последовательно родившихся один от другого, начиная с патриарха Авраама и заканчивая Иисусом Христом. (Лишь единожды упоминается женщина, да и то не потому, что она мать, а потому, что она не еврейка, а моабитка.) Ни для одного из предков Иисуса не приводится ни одной даты, но только социологическая, культурная, физиологическая или политическая информация о них. Этот повествовательный стиль (который также отражает превращение разрыва-в-Вифлееме в память) был совершенно естествен для святого автора генеалогии, ибо он мыслил Христа не как историческую «личность», а лишь как истинного Сына Божьего.

Так же, как с современными личностями, обстоит дело и с нациями. Сознание помещенности в мирской, последовательно поступательный поток времени, со всей вытекающей отсюда непрерывностью, но вместе с тем и с «забвением» переживания этой непрерывности — продуктом разрывов, произошедших на исходе XVIII века, — рождает потребность в нарративе «идентичности». Эту задачу Мишле ставит перед своими «магистратурами». Тем не менее, между повествованиями о персоне и нации есть одно существенное отличие. В мирской истории о «персоне» есть начало и конец. Она ненадолго является из родительских генов и социальных обстоятельств на историческую сцену, дабы до наступления смерти сыграть на ней некоторую роль. И после этого — ничего, кроме шлейфа затянувшейся славы или влияния. (Представьте себе, как было бы странно сегодня завершить жизнеописание Гитлера наблюдением того, как 30 апреля 1945 г. он направляется прямым в ад.) У наций, в свою очередь, нет ясно определенных рождений, а смерти, если вообще происходят, никогда не бывают естественными[461]. Поскольку у нации нет Творца, ее биография не может быть написана по-евангельски, «от прошлого к настоящему», через длинную прокреативную череду рождений. Единственная альтернатива — организовать ее «от настоящего к прошлому»: к пекинскому человеку, яванскому человеку, королю Артуру, насколько далеко сумеет пролить свой прерывистый свет лампа археологии. Такая организация, однако, размечается смертями, которые — по курьезной инверсии общепринятой генеалогии — начинаются с исходной точки в настоящем. Вторая мировая война порождает первую мировую; из Седана является Аустерлиц; а предком Варшавского восстания становится государство Израиль.

И все-таки смерти, структурирующие биографию нации, особого рода. На 1200 страницах внушающего благоговейный ужас труда Фернана Броделя «La Méditerranée et le Monde

Méditerranéen à l'Époque de Philippe II» нет ни единого упоминания о «la Saint-Barthélémy», хотя она прилась едва ли не на самую середину правления Филиппа II. Для Броделя смерти, имеющие значение, — это те мириады анонимных событий, которые, будучи собранными и усредненными в столетних уровнях смертности, позволяют ему схематично обрисовать медленно меняющиеся условия жизни миллионов анонимных людей, относительно которых вопрос об их национальности является самым последним.

Из безжалостно нагромождающихся кладбищ Броделя биография нации, между тем, выхватывает — в противовес текущему уровню смертности — показательные суициды, трогательные самопожертвования, злодейские убийства, казни, войны и массовые бойни. Но для того, чтобы служить повествовательным целям, эти насильственные смерти должны вспоминаться/забываться как «наши собственные».